

СТРЕЛЫ

12

1986
декабрь



ПРОЗА
СТИХИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Издательство «Третья волна» предлагает новую книгу

Владимир Максимов
**ЗАГЛЯНУТЬ
В БЕЗДНУ**



1986

роман

Цена \$ 18.

**Заказы и чеки направляйте по адресу;
Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302**

12

декабрь 1986

Стрелец

Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЯ

Стрелец

Фото:
АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА

Стрелец

PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of
(C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of
Soviet Emigres. 80 Grand Street
Jersey City, New Jersey 07302
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman.

Адрес редакции в США:
ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Адрес редакции во Франции:
Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
91 230 Monigeron
France

Стрелец

Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE
COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET
EMIGRES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS
THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE CAUSE
OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS.
FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT BELLA
VOLFMAN AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW
JERSEY 07302. PHONE #201-332-7962.

© 1986 by Committee for the Absorption
of Soviet Emigres. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card
No: 84-8582 ISSN: 0747-7287

третий год издания



- 4 ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН — РУССКИЙ ВАРИАНТ.
РОМАН. ОКОНЧАНИЕ.
- 17 ЕФИМ ГЕЛЛЕР — ПРИНЦЕССА САХАРНОГО
КОРОЛЕВСТВА. СКАЗКА. ОКОНЧАНИЕ.
- 22 ВАДИМ КРЕЙД — НОВЫЕ СТИХИ
- 23 СЕРГЕЙ ШАРШУН — ДОЛГОЛИКОВ. ПОЭМА.
ОКОНЧАНИЕ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие наши читатели!

С Новым годом вас, всего вам наилучшего!

Этот номер носит несколько специфический характер — в нем представлена в основном проза, так как мы должны были закончить публикацию трех больших произведений.

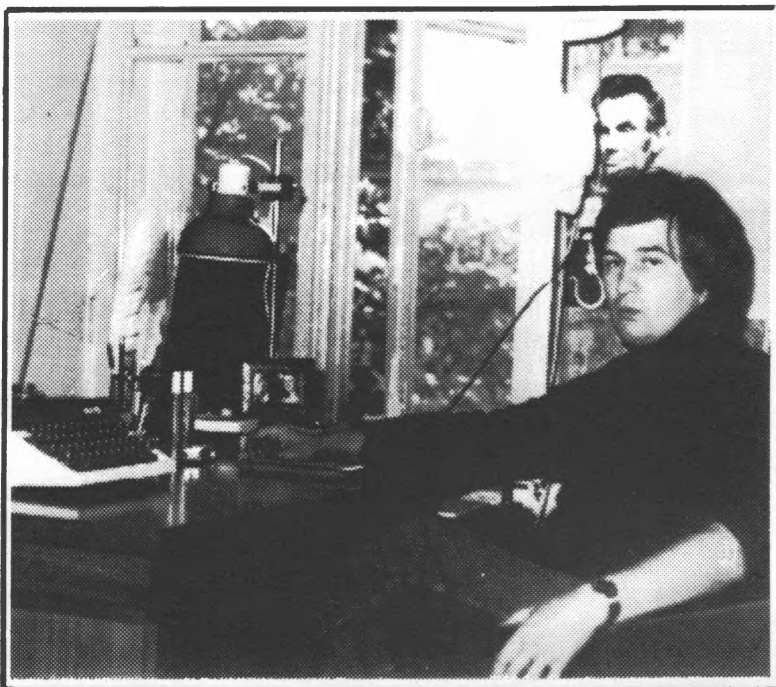
Мы приносим извинения любителям других рубрик журнала и заверяем их, что в ближайших номерах все наши рубрики будут представлены достаточно полно и широко. В частности, в первом номере «Стрельца» вы познакомитесь с эссе Василия Аксенова, воспоминаниями Гавриила Гликмана, рассказами Геннадия Вальдберга и Сергея Юрьенена, стихами московских и эмигрантских поэтов, литературной критикой и публицистикой.

Еще раз с Новым годом, всего вам доброго!

На первой странице обложки репродукция работы Анатолия Зверева «Лошадка», акварель, 1980.

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома

ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН



РУССКИЙ

ВАРИАНТ

●
РОМАН

Заливая помещение слепящим светом, совсем рядом протянулось в сухом воздухе извивистое сияние молнии. И через секунду гром разорвал пространство за окном. Стекла отрезвляюще зазвенели.

В пиджаке, накинутом на одно плечо, с бумажкой, зажатой в кулаке, инженер выбежал из подъезда на улицу. Он пересек панель и остановился на проезжей части, задрал голову к небу. Там, над самыми крышами, мчалась черная туча, тяжелая, как ртуть. Первые капли упали на лоб. Движением руки инженер убрал намокшие пряди волос, и тогда над головой разверзлись хляби небесные. На нем не осталось ни одной сухой нитки — пока Лешаков бежал назад к проходной, он промок насквозь.

Седьмое сентября скрывалось не за горами. Пять недель — срок недолгий. Но Лешакову он не показался слишком коротким. Напротив, вполне достаточно времени, если заняться подготовкой серьезно, вплотную, не отвлекаясь на мелочи, на пустяки, считал инженер.

Конечно, он был свободен сам определить дату. Мог выбрать любой удобный день. Противостояние тригонов и бред

компьютера на первый взгляд ничего не решали. Но плод созрел. Время настало. Лешаков не желал затягивать — он не имел силы сдерживать себя. Нетерпение влекло, затягивало. Он уже не мог отложить. Ему и в голову не пришло повременить. Лешаков принял предложенное число с радостью. Выбрал свободно, потому что несвободен был отказаться.

Вероника пребывала в Крыму. Она прислала открытку с видом Никитского ботанического сада, с перечислением новых знакомых, намекала на развлечения и надеялась, что доктор из Дома творчества писателей устроит ей больничную на недельку, чтобы задержаться у моря, — доктор был покладистый и обещал.

Театр, а с ним Валечка и Лиля, отправились на гастроли в Пензу. Однажды актер позвонил Лешакову ночью по междугородней, перебудил соседей. Подпрыгивая в коридоре босиком, всклокоченный инженер вслушивался в несвязные крики приятеля. Судя по голосу, Валечка был счастлив, но речь производила странное впечатление: слишком многое сразу хотел тот сказать. Скоро их разъединили. Недоумевая, Лешаков вернулся в комнату. Дальше спать не мог. Натянул рубашку и устроился за машинкой. Ни минуты он не тратил впустую.

Фомин запропастился. За книгами не заглянул. Сначала Лешаков беспокоился. Дни и ночи он проводил дома. Но марксист как в воду канул. Даже не звонил. Лешаков тоже не звонил. И, к стыду своему, увлекся, забыл о друге. А литературу за ненадобностью убрал на шкаф.

Грозы отгремели и прошли. Снова наступила жара. В комнате нечем было дышать. Густо стояло облако смрада над стареньким паяльником. Сладко пахло канифолью. Вентилятор хлопотал на шкафу, бесполезно молотил лопастями, неспособный вытолкнуть застоявшееся облако в раскрытое окно.

Ночами Лешаков писал на машинке. В шести экземпляров печатал бесконечную формулу. "...НИКОМУ, НИКОГДА, НИ ЗА ЧТО..." Это занятие превратилось для него в медитацию.

Седьмого сентября, в семь часов, бормотал он и усмехался созвучному совпадению слов и чисел. Было смешно, но пугала кабала этих знаков. А однажды он даже открыл третий том "Войны и мира", единственную книгу Льва Толстого в доме, и потратил битый час, отыскивая место, где Пьер Безухов взволнованно открывает предназначение свое "положить предел власти Зверя", подтасовывая данные наперекор французской грамматике. "Русский Безухов... L' Russe Besuhof ..." Отчего же вдруг французская грамматика в русской судьбе, несогласно качал головой инженер, было неловко ему не то за Пьера, не то за графа, словно бы передернули карты. Подтасовка судьбы, так понимал Лешаков. А седьмое сентября?.. Перед Лешаковым стоял неперсонифицированный противник, никакой не Зверь, но тоже чудище обло.

В семь часов, седьмого...

Он посмеивался, понимал: чего не случается, каких только совпадений не бывает. Он не верил машине, звездам, таблицам. "...НИ ВО ЧТО, НИКОМУ, НИКОГДА..." Но по мере приближения срока семерка росла. Она достигала исполинских размеров. Затмевала тенью будущее. Собственно, дальше за семеркой ничего не стояло. Она-то и сделалась для Лешакова тем единственным, что уже не таилось, а в открытую поджидало там, впереди.

Август — тяжелый, смарагдовый — кончался. Вечера

наступали скорее. Вечерами Лешаков пораньше зажигал в комнате свет. В город возвращались отдохнувшие дети. Голоса их звонко раздавались во дворе, долетали с бульвара. Уже сухие листья попадались, как опалины, на вытоптанном ковре газона, хотя деревья шевелили еще темными кронами. Ветерок приобрел пронизывающий, ледяной оттенок. И вода в Неве потемнела, напряглась и катила гладкие, как расплав, волны к морю, подымаясь в гранитных берегах.

Инженер заканчивал сборку системы. Дело двигалось споро. Он удерживал себя от поспешности, проверял по многу раз, старался сработать наверняка. Ошибиться он не имел права. Слишком это было бы страшно.

Лешаков не допускал теперь и мысли об осечке. Если в работе возникали новые идеи, приходили свежие мысли, инженер выбирал с осторожностью. От некоторых заманчивых задумок и вовсе отказался — не оставалось времени проверить.

Первого сентября город заполнили дети с цветами. Мальчики в форме, в круглых великоватых фуражках, девочки в белых крылатых передниках, робкие первоклассники и за лето соскучившиеся друг по другу выпускники. Инженер вышел с ними на улицу. Целое утро он бродил по бульвару, по набережным, встревоженный чужой радостью, затронутый странной забытой болью, и не мог понять, что происходит с ним, отчего вдруг так хорошо и так больно в одном и том же. Невдомек было ему, что это он прощается и что чувство расставания особенно сильно, когда расстаешься всерьез.

Он вернулся в свой дом, превращенный за недели в сарай, в мастерскую. На столе стоял большой чемодан. В чемодане лежали три серых серебристых болида. Рядом, в удобной сумочке компактно разместилась пусковая аппаратура.

Лешаков захлопнул крышку, снял чемодан со стола и бережно отнес в угол, поставил там вместе с сумкой. А потом прибрал комнату, подмел, собрал и вынес сор, приготовил поесть, перекусил и сел за машинку. Осталось несколько тысяч раз повторить заклятие: "НИ ЗА ЧТО, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ".

Четвертого сентября объявился Фомин. Бывший номенклатурный работник возник, как обычно, без звонка, без предупреждения. От отвергал условности.

— Книжечки твои целы, все тут, — обрадовался Лешаков и достал со шкафа запылившуюся стопку.

Но Фомин уклонился от книг, словно забыл, что книги ему одолжили, словно бы и возвращать не собирался, — просто еще один экс в романтическом стиле первой русской революции.

— Плеханова дочитал? — догадался Лешаков.

Марксист молча кивнул, поморщившись, как от изжоги:

— Давно.

— Понятно. Чай сейчас сообразим.

— Лучше вот это, — приглашающе взглянул бывший номенклатурный работник, достал из кармана четвертинку "московской" и поставил на стол, выложив к выпивке соленый огурец, еще крепкий, небольшого размера.

— Кончатся, — пожаловался он.

В присутствии Фомина дышалось легко. Грусть отпустила. До сих пор ничего им не приходилось объяснять друг другу, все понималось с полуслова. То есть возникала атмосфера, когда самое что ни на есть наслаждение состояло именно в том, чтобы тихо посидеть за столом и под негромкую

беседу славно выпить водочки. Тем более, не виделись они почти месяц, и в преддверии решающей даты нельзя было поручиться, когда снова свидятся. Очень даже выйти могло, что и никогда. Одним словом, случай располагал. Но Лешаков, хотя и обрадовался приходу марксиста, ни о чем таком не подумал.

Семерка надвигалась. Она подступала неумолимо. Семерка заслоняла от него все и всех.

Он знал, что от водки, от беседы разомлеет. И когда Фомин, нерешительно потоптавшись в прихожей, будто напоследок что-то важное собираясь сообщить, уйдет в ночь, когда за ним защелкнется замок, а инженер останется опять один в четырех стенах, то уже не сможет он в размягченном состоянии усадить себя за работу, чтобы дальше упрямо давить болтавшиеся клавиши разбитой прокатной машинки, без конца повторяя одни и те же слова. Четко. Складно. Работу надо было исполнять внимательно и аккуратно, чисто, без помарок и без ошибок. С достоинством, с уважением, с почтением к тому, кто подберет с асфальта лешаковский листок, поднимет к глазам и прочтет. Так ясно инженер представлял, видел перед собой этого читающего человека, задумавшегося над его, Лешакова, словами, что за ним не видел друга, небритого, подавленного, живого и сегодняшнего, сидевшего за столом.

Инженер сходил за чайником. Поставил на стол чашки и печенье. А рюмку одну — для Фомина. Он сказал:

— У меня работа. Ты прости.

— Работа не х..., может и постоять.

Но Лешаков остался неумолим.

Так они и сидели под лампочкой на углу стола, культурно накрытого старой скатеркой. Один хлебал чай из блюдца, другой пил водку и сочно хрустел огурцом.

После второй стопки бывший номенклатурный работник поднялся из-за стола и присел на корточках у этажерки, чтобы получше рассмотреть немногие книги хозяина.

— "Капитал" имеется? — спросил он.

— Сколько нужно?

— Я не о том... Книга?

— Внизу, — указал Лешаков, — в заднем ряду. После института осталась. А тебе-то зачем опять?

— Читать буду. По второму заходу.

— Ты ведь собирался последователей осваивать, — напомнил Лешаков.

Фомин замычал и замотал головой. Он вернулся к столу, налил и быстро опрокинул вовнутрь третью стопку.

— Не м-м-могу их. Эпигоны, — промычал он. — Основоположников надо читать. Вся соль там... Я попробовал дальше — не идет. Сплошное фуфло. Одним словом, мутанты.

— Иди ты! — удивился Лешаков. — И даже?

— И даже туда же, — компетентно подтвердил Фомин.

Он помолчал, словно бы собиравшись с духом, и, заглянув в Лешакова, выговорил почти застенчиво, с заметным затруднением:

— Больше тебе скажу: на данном этапе правильных марксистов, почитай, и не сыщешь. Перевелись, — и добавил: — Может быть, я один остался.

Сотрудник овощебазы ожидал возражений и спора. Но Лешаков поверил с легкостью. Согласился. Подумалось инженеру: не чудо, если совсем не он, не Лешаков, а марксист окажется последней каплей, увесистой, самокупной.

Так они и сидели — каждый сам по себе. Спор не состоял-

ся, разговор не клеился. Видимо, все было сказано. Лешаков фанатично пил чай. Есть не хотелось, но он крошил печенье и машинально совал кусочки в рот. Сметал ладонью крошки со скатерти. Товарищ напротив маялся перед налитой рюмкой. Невмоготу так выпивать, вроде бы с другом, а по сути одному. Лешаков сидел рядом, но компании не составил, просто присутствовал. В том виделся Фомину формальный подход. Холодно было жить.

В бутылке оставалось на доньшке.

— Примкнешь? — безнадежно спросил он.

Лешаков молча отказался.

Водки-то и было всего ничего. На полную рюмку не набралось. От граммочки такой и тепла не почувствуешь, не то что окосеешь. Здоровому мужику, инженеру, глоток пришелся бы, как слону дробина. Но желания не нашлось в Лешакове. Ничего не хотел он, не желал ничего, кроме одного единственного, главного, к чему готовился долго и вот, похоже, был окончательно готов.

Напротив сидел одинокий товарищ. И непонятно вдруг стало Лешакову, зачем он сидит, почему пришел, чего хочет от него, что ищет рядом с ним. Станным казалось инженеру, что сидит он с Фоминим за своим столом, слушает неинтересное и неважное, пьет чай, ест невкусное печенье, словно конформист какой. Ведь не хотелось ни чая, ни печенья, ни водки, ни есть, ни пить, ни разговаривать, а сидеть за железной раздолбанной машинкой и писать без конца одни и те же слова, не отвлекаясь, вдумываясь каждый раз в каждое написанное слово, вновь и вновь отмеряя время до условленного срока, укорачивая срок от сей минуты до назначенного часа.

Не человеком чувствовал себя Лешаков — было в том бесчеловечное. И не заметил, как сделал больно Фомину. Не ощутил. Не догадался. Он сидел за столом, терпеливо присутствовал. Делал вежливый вид. Притворялся. И чувствовал себя скверно.

Лишь когда марксист выпил на посошок последнюю рюмку, и, утерев рукавом рот, поднялся, в груди Лешакова дрогнуло.

— Куда ты? — зачем-то торопливо сказал он. — Осталось...

Но Фомин отмахнулся. Он забрал "Капитал". И когда Лешаков приблизился, чтобы попрощаться, вынул из оттопыренного кармана еще один огурец и вложил в ладонь инженера.

— Получи за книгу. Сгодится.

— У тебя склад в штанах? — удивился Лешаков.

— Запас ношу с собой. На базе ненадежно.

— Кадка в полуразрушенном погребе, кто сунется?

— Приезжали какие-то насчет огурчиков. Искали. Пронюхали, видимо. Закуска, она всем нужна... Да и присматривают за мной.

— Следят? — ахнул инженер. — За тобой?

— Ходят двое, не прячутся даже.

— А как же ты это, сюда, а? — тут охрип Лешаков. — Ведь ты их навел. Ведь они могут...

Фомин изумленно поднял глаза. И вдруг покраснел, смутился. Он отодвинулся от Лешакова на шаг. Отвел взгляд.

— Прости... — покрываясь пятнами попросил он. — Не думал, понимаешь... Прости.

Не имея больше слов, он шагнул за порог. Лешаков побежал следом по длинному, тускло освещенному коридору. Перед дверью на лестницу они снова столкнулись, застряли

в тамбуре. И напоследок, мучаясь с замком, Фомин обернулся:

— Ежели что, ты скажи, не знаком — и вся недолга. На нет и суда нет. И я буду показывать, что не знаком... Никакого Лешакова не знаю. Понял?

Он кивнул и, не прощаясь, исчез на темной лестнице. Последний марксист, обладатель последней правильной закуски оставил Лешакова. Вышло нескладно. Ничего Лешаков не успел, ни слова последнего сказать, ни проститься полюдски. Ничего уже не успевал он в этой жизни: по пятам настигали его неслышные шаги. Три дня осталось, подумал он в оправдание.

Расстроенный грузчик выбежал из темной подворотни в переулочек. Скорыми шагами он достиг бульвара и, постепенно успокаиваясь от ходьбы, потопал к остановке трамвая. На Лешакова в душе он зла не держал. Но обида смутила мысли, всколыхнула мать, и лучше было не думать, пока мать не осядет, не уляжется. Бывший номенклатурный работник видел перед собой ночь, огни, глубокие тени деревьев на сухом асфальте, редкие прямоугольники освещенных окон, где чужое тепло и чужой уют за занавесками. Ночной сентябрьский ветер остужал лоб. Он поднял воротник, запахнул пиджачок плотнее, стараясь сохранить остатки тепла. Хмелья Фомин не чувствовал — шагалось чуть легче, думалось проще, и не так явно тревожила поселившаяся в сердце пустота. Услышав нарастающий позади гул колес, он побежал вдоль рельсовых путей, крепко прижимая толстый том, — трамвай мог оказаться последним, надо было успеть.

Ни разу Фомин не оглянулся, не посмотрел вокруг, не прислушался. Он не заметил, как в переулке от телефонной будки отделилась тень, мужская фигура в плаще, и двинулась следом, скрывая лицо в поднятом воротнике. Не приближаясь слишком, но и не отставая, человек следовал за ним вдоль бульвара, держался в густой тени деревьев. И, когда Фомин побежал, неловко придерживая полу пиджака, прижимая тяжелую книгу, человек побежал за ним, путаясь в длинном плаще. Теплые окна трамвая обогнали их, проплыли вперед и остановились. Последний марксист поднялся в пустой вагон. А человек в плаще в последний момент успел вскочить на заднюю площадку.

Пневматические двери захлопнулись. Трамвай покати к перекрестку, закачался на стрелках. Оба пассажира ехали стоя в разных концах вагона, билетов не брали, друг на друга не смотрели. Но, когда за окном во мгле мелькнула светящаяся голубая вывеска районного отделения милиции, человек с задней площадки решительно направился к Фомину, подошел вплотную, достал из внутреннего кармана угловатую книжечку служебного удостоверения, развернул перед носом и приказал строгим голосом: "Следуйте за мной". На остановке они оба сошли и зашагали в обратную сторону.

"По какому праву? В чем дело? За что?" — ничего такого милиционеры не услышали от Фомина. Он только назвал, сообщил домашний адрес, место работы — обычная формальность, все это они уже знали — и замолчал. Он не проронил ни слова, когда его бесцеременно обыскали, вывернули карманы и выложили оставшиеся огурцы на стол дежурного офицера.

— Где хранишь дефициты? — допытывался дежурный. Но задержанный молчал. Молчал он и дальше.

– Выкладывай по-хорошему. Скажешь, сразу домой пойдешь.

Бывший номенклатурный работник смотрел с интересом на представителей власти, происходившее было ему в новинку.

– Нас огурцы интересуют, – объяснил начальник отделения, появившийся в дежурке. – Неделю за тобой ходим. Сколько можно!

Но Фомин не повернул головы.

– Отвечай!

Допрашивали долго, может быть, час, и не добились ни слова. Задержанный молчал, словно воды в рот набрал. Наконец уговаривать им надоело. Человек, взявший Фомина в трамвае, поднялся из угла и выбил стул из-под арестанта. Фомин беспомощно растянулся на полу. Он попытался встать, но получил пинок в грудь и откинулся навзничь. В затылке остро откликнулась боль. А на живот кто-то встал сапогами:

– Говори, падло, у кого сховал закусон? Точный адрес? Фамилии соучастников?

– Не будет вам, – захрипел он. – Я марксист, от меня не добьетесь...

– Так и мы марксисты, – усмехнулся в усы начальник милиции и сбросил со стола в корзину с мусором пузатый "Капитал".

Фомин кинулся было на него, но куда там.

Все, что с ним делали дальше, он и сам не упомянул, разве только как летал от стены к стене, когда устроили ему пятый угол. Стены были голубые, исцарапанные, штукатурка местами отбита. Потом он очнулся в камере, лежал на мокром цементном полу. Рядом табуретка. Он приподнялся и попробовал сесть, но внутри так заболело, что он медленно сполз на пол.

Милиционеры раздобыли водку, должно быть, задержали и обыскали таксистов. Выпили. Закусили остатками добытых огурцов и после перерыва приступили к нему с новыми силами. Теперь били методично, умело, по нужным местам, чтобы лучше почувствовал, чтобы поменьше следов. И в шепот, слетавший с разбитых губ Фомина, они уже не вслушивались.

Утром рано к воротам овощебазы подкатила патрульная машина. Сторож отворил ворота и пропустил ее на территорию. Машина проехала через всю базу по разбитой грузовиками дороге к дальнему полуразрушенному пакгаузу. Вышли из нее два милиционерских офицера и прапорщик. Под руки держали они, видимо, пьяного, не стоявшего на ногах человека в рваном пиджаке, в грязной рубаше, с опухшим лиловым лицом. Четверо скрылись за дверью, качавшейся на одной петле. Шофер остался за рулем.

Из подвала послышались выкрики, шум, удары. Сердитые милиционеры выбежали из склада, сели в машину, громко захлопнули дверцы. Патрульный автомобиль развернулся, дал газ и выскочил за ворота на пригородное шоссе.

Оставшись один, Фомин долго лежал, собирая силы. Он медленно, с мучительным трудом поднялся и тупо посмотрел на опрокинутую кадку, втоптаные в грязь гнилые огурцы, пролитый рассол. Усталые милиционеры не поленились.

В "Капитале" на то не было ответа. "Капитала" у него тоже не было. И никакой правильной закуски. Он был последний марксист – никого не осталось, ни одного человека, кто мог бы его понять.

Двигаясь осторожно, стараясь не упасть в зловонную

лужу лицом, едва переставляя ноги, он приблизился, нагнулся и, пересиливая боль в боку, в груди, в низу живота и в голове, подкатил бочку к окну, поставил на попа. Потом, цепляясь за стену, ломая ногти, влез на кадку. Она зашаталась под тяжестью. Стараясь не шевелить хлипкое основание, Фомин вытянул из брук тонкий ремешок суданской кожи и, дотянувшись, закрепил его за железный крюк, когда-то державший массивную решетку окна. Петля получилась тесная, и он с трудом просунул лобастую голову. Мягкая кожа ласково обхватила шею.

Воля... – подумал он, топнул ногой, выбив каблучком ветхое дно, и закачался в воздухе, ускользя от осознанной необходимости.

Пятого сентября Лешаков спал до обеда. Никто не будил, не тревожил. Он выспался и почувствовал себя лучше. Вчерашние страхи в утреннем свете казались необоснованными, нелепыми, да и мало ли что могло с пьяных глаз привидеться Фомину, – по припухшей физиономии сразу было видно, как долго тот уже не просыхал, и допился-таки, в конце концов, до белой горячки. Впрочем, инженер допускал и другую возможность: если Лешакова, действительно, держали под колпаком, то и окружение его, приходившие в дом друзья-приятели, рано или поздно все должны были попасть на заметку. Компания подобралась веселая: Валечка, болгарский невозвращенец, Фомин, разжалованный партаппаратчик, и сам Лешаков. Кадры отборные. Но пока их не трогали. То ли картина там, наверху, не складывалась, то ли международное положение на располагало, а может, план по нелояльным до конца года перекрыли и приберегали троицу на потом, или просто тянули, выясняли и утверждали – обычная рутина. А у Лешакова уже все было на мази. Оставшиеся листки к вечеру он допечатал. Разрезал. Тщательно сложил. Упаковал в миниатюрные контейнеры. Установку привел в готовность. Потом поужинал остатками припасов – даже в магазин нос не высовывал, затаился. Все-таки сообщение Фомина тревожило Лешакова. Поразмыслив, он решил не выходить из дома, а то как бы чего не вышло: еще сунутся в его отсутствие с проверкой. Пекся он не о себе, не за шкуру трясся, но за дело болел. И, конечно, о товарище не вспомнил: как он там. Было ему недосуг. И не позвонил он марксисту, чтобы глупо, но по-человечески спросить: "Что новенького? Как дела?... Дуешься на меня?"

Так в заботах и переживаниях дожил он до вечера. Не обедал. Пропал аппетит. Но поужинать Лешаков себя принудил. Приготовил на скорую руку яичницу. Пока он жевал, раскрытый чемодан стоял на полу, у ног, и три гладкотельные ракеты матово поблескивали в неярком свете настольной лампы. Они глядели скромно и грозно, как смотрит только оружие, чем проще вид его, тем в деле оказывается оно серьезней. Снаряды Лешакова выглядели внушительно. Как бы публику на галерее не перепугать, подумал он. И принялся сочинять отговорочку, этакое отвлекающее.

Инженер долго перебирал уловки, пока не остановился на метеорологическом варианте. В кино и по телевизору часто показывали запуск метеорологических ракет, больших и малых. К ним привыкли. А то, что запуск в необычном месте, так кто их разберет, метеорологов. Вдруг понадобились пробы именно городского воздуха, где же их брать, как не в центре, на Невском.

Самому Лешакову подобное объяснение очень бы по-

нравилось, он даже предложил бы такому человеку на улице или в галерее помощь, все-таки инженер, какая-никакая, а квалификация. И причина нормальная — исследование атмосферы. Он решил, если будут слишком мешать зеваки, привлечь из толпы кого-нибудь поскромнее в помощь.

Конец вечера инженер посвятил тренировке по развертыванию системы в рабочее положение.

Лешаков засекал время. С чемоданом в руке и сумкой на плече он стоял у двери. Длинными шагами пересекал комнату, опускал точно и мягко ношу на паркет перед подоконником, откидывал крышку, поднимал и устанавливал ракеты на направляющих. Быстро подключал кабель, торчавший из сумочки, и с пусковым пультом в руках отходил на три шага. Больше не требовалось: после лесных испытаний инженер взрыва не опасался. Серьезно поворачивал он рычажок контрольно-измерительного прибора — стрелка подсказывала на максимум. Функционировала система безукоризненно.

Лешаков отмечал время, собирал чемодан. И упражнение повторялось в заученном порядке. С параноическим упорством инженер отрабатывал каждый элемент своих действий. В реальных условиях психологические помехи усилятся, резко возрастет фактор случайности, потому он и добивался автоматических реакций.

Лешаков вошел в раж, соревнуясь сам с собой. Он совершенно заигрался и не сразу услышал, когда окликнули его из коридора, позвали к телефону.

— Да? — тревожно спросил инженер и услышал счастливый смех Вероники, она прилетела из Симферополя и только что добралась из аэропорта домой.

— Приезжай, — не задумываясь позвал он.

— Я с дороги. Да и поздно, муж не отпустит.

— А который час?

— Одиннадцать, — Вероника смеялась, как русалка. —

Ты что, совсем задвинулся?

— Похоже на то, — признался инженер.

— Ложись спать. Завтра увидимся.

— А может...

— Утро вечера мудренее.

Шестого сентября Лешакова разбудил телефонный звонок. В последние дни спрос на него повысился.

— Старик, ты что квелый такой, — донесся глухо, издали Валечкин голос, — я тебя разбудил? Разбудил, говори?.. Плохо слышно. Ну, ты и задаешь храповицкого, обед скоро.

— Ты откуда? — спросил Лешаков спросонья. — У вас в Перми другой временной пояс.

— В какой Перми, парень? Мы дома. Да, я и Лиля. Дома уже. И сегодня опять уезжаем. Вечером, да. На пароходе до Астрахани. Круиз, понимаешь. Свадебное путешествие.

— Поздравляю! — окончательно проснулся Лешаков и заорал: — Поздравляю вас!

— Подожди поздравлять, рано. Свадьбы-то не было. Вернемся, тогда...

— Как же свадебное путешествие перед свадьбой?

— Конечно, — веселился утренний Валечка. — Сам знаешь с ней как, с Лилей... Никогда не угадаешь. Может, свадьба еще и не состоится, зато свадебное путешествие точно. Будет что вспомнить.

— А-а, — понял наконец Лешаков. — Дошло.

— Вечером заглянем.

— Давайте.

Лешаков повесил трубку и отправился досматривать сон. Но к полудню он проснулся окончательно. Встал. Вяло проделал гимнастику, принял душ. И оделся по-воскресному: повязал галстук.

Вероника появилась во второй половине дня, загорелая, поправившаяся — вся наливное яблочко. Но когда в дверях, как в портретной раме, предстал перед ней Лешаков, зеленый, замученный, с кругами вокруг глаз, с торчавшими поптичьими перьями волос, настроение у нее надломилось.

— Что случилось? — с места спросила она.

Лешаков слабо улыбнулся голубыми губами. С утра он ничего не ел. Слегка кружилась голова. Он радовался ее приезду, но выразить радость не хватало сил.

— Жуткая расслабуха, — признался он, — сам не знаю откуда.

— На что ты отпуск истратил?

— А... Долгая история. Потом.

— Нет, рассказывай.

— Я не завтракал, — взмолился Лешаков.

Он считал своим долгом посвятить Веронику в замысел — слишком тесно она связана с ним, последствия могли и на ее судьбе отозваться. Он собирался объясниться, но попозже, вечером, перед расставанием. А теперь не был готов и ничего толком разжевать бы не смог. Момент выдался неподходящий. Требовалась атмосфера, контакт, взаимопонимание. Оба они явились из разных миров.

— Не сейчас, — сказал он, обретая привычную твердость.

И Вероника, услышав знакомую интонацию, уступила. Но тотчас потребовала компенсацию.

— Ладно, — согласилась она. — Сначала пойдем в ресторан. Надо тебя подкормить.

Лешакову в ресторан не хотелось. Ему из дома выходить не хотелось. Он третий день не вылезал, сидел тихо, как улитка. Не высовывался. При мысли, что надо выйти на люди, ему стало не по себе. И Вероника в другой раз непременно заметила бы. Но упрямая и красивая, избалованная курортом, она гнула свое, требовала тотчас же собраться и не слушала отговорки.

— Бифштекс и рюмка коньяка, вот что поднимет дух, — заявила она. — Одевайся, на улице ветер.

Лешаков накинул плащ и повел даму кормиться.

Они посидели в "Кавказском". От грузинского коньяка инженер отказался. Молодой проворный официант бросил на Лешакова пристальный взгляд и больше не обращал внимания. Но яркую, уверенную в себе Веронику он принял всерьез. Засуетился, забегал с улыбочкой, быстро принес из буфета закуски: лобио и сациви. Открыл бутылочку вина.

Шашлык подали подгорелый. Лешаков без вкуса жевал жесткое мясо. К гарниру не притронулся. Пил мало. Он вежливо ухаживал за Вероникой, подливал ей густое темное Телиани и, слушая щебетание, не вникал в смысл.

Он смотрел сквозь стекло, как по Невскому проспекту в сентябрьском свете катили машины, гуляли прохожие, укрываясь от ветра в плотно запахнутые пальто. Воскресное оживление улицы казалось праздным.

Завтра здесь будет иначе. Уже завтра. Совсем недалеко от места, где он спокойно посиживает, каких-нибудь полторы тысячи шагов. Три серые снаряда вылетят из галереи Гостиного, взмоют над проезжей частью, раскроются с грохотом

и блеском, засыпая тротуары тысячами листков. "ЧЕЛОВЕК! НЕ ВЕРЬТЕ..."

Место для запуска он правильно выбрал. В зону действия попадали сразу три перекрестка: Малосадовая — бойкое место у Елисейского магазина, Садовая и всегда запруженный толпой пяточок у Думы. Да и на Невском сколько народу. Полторы тысячи шагов, а то и меньше, подумал он, — не надо было закрывать глаза, чтобы представить в подробностях, в деталях...

— Как тебе нравится? — услышал Лешаков голос над собой и ответил чистосердечно:

— А что? Нравится.

— А по-моему, они психи, — строго, но не без восхищения сказала Вероника.

— Кто? Почему?

— О, Боже. Битый час толкую.

И она повторила имена писателей и нескольких правозащитников, о которых даже не читавший газет Лешаков знал понаслышке. Инженер удивился совпадению. Он усмехнулся и подумал, что и его имя скоро станет известно. Совсем скоро.

Вместе они допили вино. День за окном померк. Разгорались фонари.

Вероника горячими пальцами обхватила запястье инженера.

— Пойдем?

— А кофе? — напомнил Лешаков.

С официантом он расплатился неожиданно щедро и почувствовал себя бодрей — исчезла противная вялость в ногах.

В сумрачных улицах холодом дуло с реки. Обнявшись, они бежали к бульвару. Прячась от ветра, свернули в переулок. И у ворот столкнулись с Лилей и Валечкой. Лешаков забыл про гостей.

Вероника оглядела актрису с любопытством, но не ревниво. Валечка — новенький, трезвый, выбритый и причесанный, в строгом костюме — светился улыбкой навстречу друзьям. В руках он держал коробку, перевязанную голубой лентой, — торт из "Севера".

Чаепитие затянулось. Уютно сидели за столом, накрытом старой скатертью, пили третьего сорта краснодарский чай, заваренный правильно и не скупно и оттого вкусный. За окном гроыхал кровельными листьями сентябрьский шторм. А в комнате было светло под старомодным торшером. Говорилось легко. Давно они не встречались и накопили много чего рассказать.

Вероника опять пересыпала имена новых знакомых по Коктебелю, смеялась, вспоминала умные московские разговоры. Лиля слушала внимательно и серьезно, а потом вдруг сказала, что в Перми в магазинах хоть шаром покати, маргарина даже нет, — артистов кормили в закрытой столовой.

— Неплохо кормили, вообще, — согласилась она, — но другие-то как?

— Ничего ты не поняла, — напустился на невесту обычно кроткий Валечка. — Пермьки замечательно справились с продовольственной проблемой. Действительно, в магазинах ничего нет. Нет, и не надо. Зато люди не стоят в очередях, времени не теряют, зря не бегают и не ищут, а получают продукты на производстве. Заказывают и отовариваются в пределах установленных месячных норм. Например, два кило

мяса на человека... Просто, рационально. И никаких проблем.

— Это же карточная система, — определил Лешаков, — военный коммунизм, — и побледнев, вспомнил людоедскую гипотезу. — При коммунизмах с мясом туговато.

— Ну и что? Зато без забот. И время остается, поразмыслить о духовном. Провинция, а билеты в театр с бою брали.

— Лагерь тебе больше понравился бы, — насмешливо вставила Лиля. — Отработал норму, получи миску баланды и пайку. Забот и того меньше.

— Поговори, поговори. Съездишь и в Бенилюкс, и в Англию с такими разговорами. Выпустят тебя. Вон Лешакова в Польшу не пустили.

— Да-а?

— Не пустили, — потупился Лешаков.

— А за что?

— Действительно, за что они тебя? — удивилась Вероника. — Впрочем, там теперь делать нечего. И в магазинах, говорят, тоже пусто.

— Магазины меня не интересуют, — достойно ответил Лешаков.

Все замолкли.

— Поздно уже, — нарушила тишину Лиля. — Пора нам.

— Надо вещи забрать и на пароход.

— Счастливо, — обнимая жениха и невесту, пожелал Лешаков. — После путешествия со свадьбой не тяните.

— Свидетелем будешь?

— Поглядим, — уклончиво сказал инженер.

— А книга твоя как? — уже в дверях вспомнил Валечка и кивнул на пишущую машинку, притулившуюся в футляре. — Готова?

— Готова, — хитровато кивнул Лешаков и уточнил: — Почти.

— Быстро ты справился, — искренне обрадовался актер. — Оно и верно — куй железо.

— Скоро услышите, — тихо и серьезно сказал инженер и поднял ясные глаза на друзей.

— Не слабая уверенность, — похвалила Лиля и рассмеялась. — Так и надо, а иначе ничего не выйдет, — и в смехе ее прозвенело удалство. — Ни пуха...

— К черту!

Весело убежали друзья.

Лешаков запер дверь квартиры и вернулся. Вероника ждала на диване, по-кошачьи свернувшись.

— А Фомин где?

— А... — Лешаков махнул рукой, раздражаясь и одновременно сожалея. — Заявился на днях с водкой, выпить уговаривал. Я ему по-человечески — не могу. А он свое заладил. Ты ему про Кузьму, он тебе про Ерему. Весь вечер сидел, пока до донышка не высосал.

— Может, ему некуда было пойти? — осторожно спросила Вероника.

— Что с того!

Лешаков ляпнул и смутился своих слов. Но на марксиста он остался сердит. В последнюю встречу пришлось Лешакову что-то сделать, чего он самому себе не мог забыть, хотя и оправдывался, и Фомина обвинял. А встреча на самом деле вышла последняя. Завтра предстояло ему... Он и нервничал оттого, что завтра не наступало, и оставались у него еще сегодняшние какие-то обязанности. Как и тогда, с Фоминым,

он опасался расслабухи и срыва. Он должен был успеть с Вероникой. Успеть — самое важное. Главное. Будущим успехом он оправдывал все.

— Странный ты стал, — задумчиво прошептала она, глядя на Лешакова, нервно шагавшего по комнате излюбленным маршрутом. — На глазах меняешься.

Она смотрела пристально, серьезно. Уверенная по-женски в своей проницательности, она надеялась разглядеть то, что тревожило с первой минуты, когда Лешаков предстал на пороге. Она хотела распознать сама, без ненужных его признаний: им была невелика цена — слишком скрытным он стал за последние месяцы. Вероника словно бы пыталась заглянуть в него. От напряжения она даже приподнялась. Но не хватило бы здесь и звериной зоркости.

Лешаков походил взад-вперед, успокоился. Волновался он не сильно. Так. Чуть. Минута важная. Не знал, с чего начать. До сих пор никому он не открылся. Даже Фомину не стал объяснять, хотя знал: спорить-то он будет, но душу лешаковскую поймет.

Насчет Вероники Лешаков не был уверен, что она вникнет в нюансы. Не рассчитывал, что увлечет ее на свою сторону. Но всегда он знал: именно ей, только ей одной и откроется до конца, рано или поздно расскажет, выложит все, вывернет себя наизнанку. Иногда, в редкий момент жизни нужна человеку хотя бы иллюзия, что не совсем он один, не окончательно. Требуется сила, чтобы игнорировать пожизненное одиночество. А Лешакову, где было ему взять этой силы. Женщина — последнее убежище для беглеца и преступника. Лешаков был беглец. Завтра предстояло ему преступить: он должен был выйти за черту.

Он сдвинул на край остатки торта, тарелки, чашки и сахарницу, закинул скатерть, извлек из-за портьеры громоздкий чемоданище, воздвиг на стол и поднял крышку.

— Посмотри сюда.

Веронике не хотелось вставать. Она удобно устроилась на диване. Но Лешаков властно взял ее за руку и приподнял.

— Что это? — без интереса спросила она, не обнаружив испуга.

Лешаков побледнел.

— А мы за кооператив не выплатили... — проговорила она, когда Лешаков закончил рассказ.

Часы показывали полночь. Лицо инженера посерело. Он устал, словно пережил все сначала.

— Ты не в своем уме.

Лешаков нервно улыбался.

— У нас доктор знакомый есть, специалист. Если хочешь? Он поможет. Хочешь?

— Зачем?

— А вдруг у тебя эта, ну, латентная шизофрения?

— Такой болезни нет, — строго сказал он.

— Для психов, вроде тебя, ее не зря придумали.

— Я свободный человек, — повторил он упорно, — и не верю.

— Сумасшедший, — тихо всхлинула она. — Задумайся над своими словами... Валечка, вот кто не верит ни во что и на любое согласен. А ты... Ты фанатик, Лешаков. Тебе, в сущности, наплевать, как на самом деле, — важно, чтобы совпадало с тем, что ты думаешь.

— А сама говорила, а? Здесь, в этой самой комнате,

о жизненных функциях говорила — про льва и лань... Помнишь?

— Ах, оставь, — Вероника бессильно оттолкнула, и на глаза навернулись крупные слезы. — Дурачок. Какой же ты дурачок!

Разговор получался бессмысленный, длинный. Даже и не разговор — плакала, уговаривала, просила, приводила доводы и рассуждала одна Вероника. Лешаков отнекивался, мекал неопределенно, отмалчивался или шутил. Пока женщина жалела его, все развивалось нормально, согласно классическому образцу. Скоро Лешаков уже сам утешал Веронику. Успокаивал. И она отвечала на ласки, упуская предмет спора, размазывая слезы по губам. Всклипы стали глубже, отрывистее. Глаза высохли, а пальцы обрели проворность.

Задним умом Лешаков понимал — лучше бы ему было выпастись. Но ни себя, ни ее он остановить не смел. Да и все равно один он в ту ночь не уснул бы, а мучился до рассвета. Он боялся покоя. Опять, как в те жалкие дни, необходимо было ему, чтобы непрерывно случалось хоть что-то, происходило, длилось, не прекращалось... Лешаков мял гладкие, загорелые бока, а думал, думал, думал о другом. Он предательски рассуждал об отвлеченных вещах, пока Вероника жарко хлопотала над ним, пытаясь его оживить. Справиться с посторонними мыслями, отбросить, прогнать их не хватало силы. Податливо инженер терпел ласки. Вероника испробовала все, чему за месяц в Крыму обучилась у московских интеллектуалов. Но ни быстрые губы, ни умелые пальцы не расшевелили Лешакова. Она измучилась, и когда он полупритворно вздохнул, обняла его с облегчением.

— Наконец-то...

Потом они лежали обнявшись. Долго. Инженер замер в тепле, и вяло поднял голову, когда Вероника встрепенулась:

— Который час?

— Поздно уже.

— Я не предупредила дома.

— Оставайся, — попросил он из полусна, пробормотал невнятное слово, и она разобрала:

— ...все равно.

Лешаков успокоился, стих.

Неподвижно лежала женщина, еще горячая, измученная, перепуганная и забытая. Ночь отняла у нее глупого Лешакова. Некого было пожалеть. А испуг прогнал сон.

Вероника затаилась. Сон не шел в голову. Что же будет, пыталась представить она. Решимость инженера ощущалась чужой и враждебной. Гибельное влияние шло от него. Окончательная его неподвластность превращала Лешакова в чужого и угрожающего. Отталкивала. Этот враждебный Лешаков, грозил сложившемуся равновесию ее жизни. Обещал покой обрушить. Что же будет? И за квартиру они еще не заплатили, а муж, как пить дать, с работы вылетит за одно только знакомство с таким типом. Что будет с ней, когда подробности раскроются? Ведь откроется все, непременно выльется наружу. Завтра... Вот почему все равно. Уже все равно. Остановить инженера не было возможности. Не по силам. Он не псих. Он хуже, поняла Вероника.

Время уходило.

Что же это я тут лежу? — вдруг спросила она себя и испугалась.

Вера встала. Вылила остатки крепкой заварки в чашку. Закурила. Зябко съежилась от сырости у открытой форточ-

ки. Лешаков дышал глубоко и спокойно, тихо, как мальчик. Ему не было дела до ее терзаний, тревог, планов, предчувствий и подступавших угрызений совести.

До стоянки такси было далеко. Раскачиваемые ветром, редкие фонари освещали путь. Звонко стуча каблуками, не опасаясь ночной встречи, Вероника смело бежала к "Астории" глухими переулками. Не думала ни о чем, кроме главной опасности. И никого не боялась. В ней готовилось, зрело решение. В тот момент бояться следовало ее.

Во сне Лешаков продолжал рассуждать. Почему-то думал он о Пьере Безухове. Вспоминал, как в финале романа Наташа противилась дружбе мужа с крамольниками. Вспомнил, что Пьер в Москве собирался убить Зверя. Он, Лешаков, убивать не замышлял. Он наметил скромный поступок. Капле предназначено капнуть. И она упадет. Чашу, наверное, не переполнит — много требуется капель. Но камень всякая капля долбит.

Лешаков успокоился. Больше не думал. На сердце стало ясно, легко. Скоро он согрелся и задремал во сне. Ему снилось, будто он уснул и видит сон, а во сне он не Лешаков, а юная девушка. Как в кино: стоит на балконе в тонкой рубашке. Холодно. Сырой клочковатый туман между деревьями парка. А над парком, в безоблачном небе, звезды. Звездное небо. Небо шевелилось, и звезды образовали линию. Они тянулись наискосок к горизонту. Это путь. "Посмотри, — сказал Лешаков голосом шестнадцатилетней девушки, — это и есть..." Но забыл, как называется путь. Не мог вспомнить. Было холодно на балконе. Откуда-то дуло под рубашку...

Лешаков открыл глаза и понял, одеяло откинута, из форточки дует в голые ноги. Он один. Веры не было. Он зажег лампу. Одежда ее не висела на стуле. Она ушла. На столе белела записка: "Позвони из автомата". Лешаков прочитал, повернул выключатель и уснул крепко, без снов.

На рассвете ветер ненадолго успокоился, стих. Пролетел дождь. Низкое осеннее солнце взошло над городом, заблестело в пронзительно синих разрывах тяжелых, быстро летящих облаков, лиловые края которых угрожающе темнели. Солнце заиграло на золотых шпилях и куполах, запуталось в белых колоннадах ложно-классической архитектуры, отразилось в чистых стеклах, промытых ночным дождем, ослепило холодным осенним сиянием глаза инженера, бежавшего тротуаром с нервной, нелепой в понедельник бодростью вдоль облупленных фасадов, мрачных подворотен, запертых парадных по гулкой утренней улице. День начинался красиво — необыкновенный день Лешакова, седьмое сентября.

Проснулся он сам, без будильника. Как от толчка, открыл глаза ровно в семь. Без почесываний и потягиваний в постели резво вскочил на ноги и, протирая глаза, выглянул во двор, узнать, какая погода.

Мыслей не было. Отдохнувшая голова работала неторопливо, направляла внимание на первые заботы: кухня, туалет, душ, чашка чая. Затем он прибрал вчерашнюю посуду со стола, сложил и спрятал в диванный ящик постель. Проверил ракеты в чемодане, пощелкал кнопками и рычажком, оживил стрелку амперметра, выключил, опустил крышку и запер, оставив чемодан на столе посреди комнаты, чтобы вечером ни на минуту не задерживаться, а только забежать в квартиру, взять.

Белье, рубашку — Лешаков надел все чистое, по чувству.

Костюм был не новый уже, но нарядный, воскресного вида. За ночь он отвиселся, и складка на брюках удовлетворяла инженера. Галстук повязывать не стал, а воротник рубашки расстегнул. Начинался день его свободы.

Посторонний глаз ничего примечательного, нового, ничего значимого в происходившем, может быть, и не обнаружил бы: собирается на службу инженер после отпуска, давно не был на работе, даже радуется. Но Лешаков метко подмечал одну за другой незначительные пока особенности, словно бы собирательные признаки грозной, надвигающейся главной особенности. А когда вышел на улицу, застегивая плащ, задрал голову и огляделся, особенно красивая погода, необыкновенная, пронзительная ясность воздуха воодушевили его, закрепили веру в необыкновенность дня.

Чистенький, свежий, гладко выбритый, хорошо протертый инженер за три минуты до начала появился в отделе. Повесил плащ на гвоздик, через комнаты пробежал к рабочему столу в углу, появлением своим привлекая взгляды, откликаясь на приветствия. Не оборачиваясь, он привычно остановился у стола и тут спиной, затылком — так угадывают сильный пристальный взгляд — ощутил, что вокруг происходит нечто непонятное, неясное пока, но имеющее к нему, к инженеру Лешакову, непосредственное отношение: ничего не случается, но происходит выходящее из ряда вон, особенное — его ждали.

— Лешаков!

— Где Лешаков?.. Пришел Лешаков?

— Лешакова к начальнику!

Инженер и пиджака не снял, папироску размять не успел, чтобы нормально, с перекура начать трудовой день, а он имел намерение честно отбыть на службе положенное время, поработать даже. Лешаков не успел оглядеться, как ни с того, ни с сего вдруг все завертелось вокруг него, повалилось на него, посыпалось из-под него, да так, что какие там привычки, перекуры — не до привычек. Едва он успевал соображать, как это и что, почему и откуда. Впрочем, от соображений толку мало. Происходящее было из области, на которую повлиять не могли ни воля, ни хитроумие, ни догадки, ни решения инженера. А действовать он еле успевал. Лишь головой мотал, кивал, да пожимал плечами. Глазом моргнуть не успел, не успел опомниться, как промелькнул замечательный, звездный, в самом деле решающий в жизни Лешакова день. Лешаков сам его на свою голову навлек, вычислил, по планетам определил.

Пока он засовывал в карман пиджака надорванную пачку "Беломора", пробирался меж столами и чертежными досками к двери в кабинет начальника, пожилая сотрудница Нина Степановна невзначай задержала его. То есть, она просто окликнула Лешакова. Инженер от неожиданности остановился, как вкопанный. Нина Степановна назвала его по имени-отчеству.

Но тут надо объяснить.

Копировщица Нина Степановна, немолодая, склонная к полноте дама с гладко зачесанными серыми прядями, когда-то светлых волос, с выпуклыми линзами сильных очков на курносом, пуговкой, розовом носике, обычно тихонькая, хитроватая и малозаметная тетенька, работала дольше других в отделе, а может быть, и в институте. Она в тресте, почитай, все начальство знала в лицо. И в главке. О ней там, наверху, не догадывались, но она-то их изучила, чем занимается руководство, имела представление. И, конечно, о том, что за-

тевалось между сильными мирка сего, Нина Степановна умела угадать по известным ей одной приметам раньше иных. Случаются такие таланты.

С Лешаковым были у нее до сих пор отношения никакие. Он звал ее Ниной Степановной, а старушечья обращалась к нему просто на "вы". Инженера не удивило бы, если бы оказалось, что она, как зовут его, и вовсе не знает. А тут вдруг по имени-отчеству.

— ... — сказала Нина Степановна. — Как отпуск провели, хорошо отдохнули? Ездили куда?

— ... ?

Лешаков заморгал глазами. Он даже вопроса не слышал от неожиданности. Смотрел на Нину Степановну в упор, шевеля ртом, как рыба. Наконец, нашелся и ответил кротко:

— В городе оставался.

Но Нина Степановна, довольная произведенным впечатлением, не слушала дальше.

— Ступайте, ступайте, — засмеялась она. — С Богом!

И Лешаков шагнул в приоткрытую для него молчаливой и умненькой секретаршей дверь кабинета.

Начальник сидел за столом в высоком кресле и болтал короткими ножками. Лицо его стало круглым от улыбки и довольства, когда он увидел Лешакова, растерянно вопрошающего, робко вставшего на пороге, — утро ударило по нервам инженера.

Вовсе не того он желал сегодня, ему надо было тихо продержаться до вечера. А все начиналось не так, запутанно, сложно, опасно. Он не знал и не догадывался, что же такое начиналось, что происходило вокруг него, с ним. Но реакция была верная — не нравилось ему все это.

— Заходи, заходи, — приподнялся в кресле начальник. — Присаживайся, давай. Устраивайся поудобней, чувствуй себя, как дома, ха-ха-ха, — и он фамильярно закудаhtал, а глаза его неподвижно внимательно изучали рефлексy лицевой мускулатуры подчиненного, но примечательного ничего не отметили, лишь тривиальное удивление.

— Ты чего бледный? Отдыхал как, рассказывай?

— Дома сидел.

— Не поехал к морю?

— Не пришлось.

— Даешь!

— Дел разных накопилось невпроворот, — пожаловался Лешаков. — За отпуск насилиу управился.

— Квартиру отремонтировал, небось?

— Вроде того.

— Закончил?

— Как раз успел, — вздохнул инженер.

— Молодец! Вот за что люблю, — воодушевился начальник. — Всегда успеваешь, любое дело до конца доведешь... Не ошиблись мы в тебе, товарищ, — сказал он вслух, а сам подумал: "Хорошо держится, сукин кот. Смекнул давно, а виду не подает".

Лешаков уловил в знакомом голосе деловое начало, насторожился. Он выпрямился на стуле и уставился на начальника.

— Слушай сюда, — выговорил после паузы посерьезневший шеф. — О том, что контора наша расширяется и разные подробности, я сейчас рассказывать не стану. Сам, верно, не хуже меня знаешь. Слыхал уже?

Лешаков перед отпуском какие-то слухи краем уха

уловил, вокруг судачили рядили сослуживцы, перебирали разные разности. Заботы их не волновали инженера. Он не вникал. Но и шефа прямо спросить о подробностях не решился. Просто моргнул.

— Добро. Теперь главное. Переводят меня в главк, — начальник помолчал, убедился в сделанном впечатлении: Лешаков от нервности побелел — получилась как бы растерянность на лице, мол, как же будем без вас, сирот оставляете, пропадем. — А тебя... Есть мнение руководства выдвинуть тебя начальником отдела. На мое место, — шеф похлопал ладонью по крышке стола. — На это вот самое. Ну, а я того... Я поддерживаю.

Он шумно отъехал в кресле к стене. У Лешакова перехватило дыхание.

— Меня?

— Кого же еще!

— Вы серьезно?

— ... ?

— Нельзя меня. Невозможно.

Начальник весело и молодо засмеялся. Он любил Лешакова, и сильное удивление как нельзя лучше понравилось ему. Непритворное было удивление. Очень оно шло скромному Лешакову.

— Да почему? — хохотал руководитель. — Как это нельзя, а? Кому нельзя — мне?.. Не уважаешь, брат.

— Никому, — бормотал Лешаков. — Как же так, по какому праву... Сперва одно, теперь третье, — взять и запросто сделать с человеком неизвестно что... Это, это...

— Произвол, — хохотал начальник.

— Естественно. Произвол и есть произвол!

— Да, — вдруг совершенно серьезно выговорил шеф, и глаза его твердо толкнули инженера, обрывая веселье, напоминая, что делу время, а потехе час, довольно сумасшествия, опомниться пора. — Произвол. Самый натуральный. Насилие, одним словом... Будешь начальником отдела. Хорошим начальником. Лучшим. Решенное дело.

У Лешакова и слов не было, чтобы спорить.

— Принимай дела. Приказа пока нет, но это формальность. Вопрос дней... А потом, — он сощурился, — потом я тебя в главк заберу. К себе. Такие люди, как ты, Лешаков, нужны стране. Но сначала ты должен себя проявить на новом месте.

— Я ведь не в партии, — слабо и безнадежно вставил Лешаков.

— И хорошо. Не примазался, значит. Не лез без мыла. Скромно, честно делал дело. По правде сказать, не много таких людей сегодня. А партия, она ценит. Она видит. Ее, товарищ, на хромой козе не объедешь. Там знают, что почему... Если понадобится — вступишь.

С этими словами начальник торжественно поднялся из-за стола, уступая место тоже поднявшемуся инженеру.

— Садись, осваивайся, — потрепал он новоиспеченного руководителя за плечо и добавил: — Работы по горло, а мне в управление пора. Выручай. Вникай в дела на месте, сходу. Разницы нет, днем раньше, днем позже. Принимай отдел, — он кивнул в сторону преданно молчавшей секретарши: — Ирочка к твоим услугам.

Начальник подхватил легонькую, тисненой кожи папку с бумагами, задвинул застежку-молнию, проверил во внутреннем кармане наличие любимой ручки с золотым перышком, машинально поправил воротник ковбойки, застегнул пиджак. Он пожал руку инженеру и важно выкатился за дверь, оставив

Лешакова один на один со взволнованной девушкой, занавесившей челкой глаза.

Лешаков не видел, куда себя деть, и, не помышляя о том, чтобы занять собой предложенное, оставленное ему, удобное, теплое еще кресло, он оглянулся беспомощно. Но вернуться на стул посетителя тоже не захотел. Сдвинул бумаги на край широкого, как постель, стола. Достал папиросы из кармана и, усевшись на угол полированной ореховой крышки, спросил ожидавшую распорядитель Ирину:

– Пепельница есть?

– Антон Иванович не курили, – осторожно наблюдая, как прищелец попирает задом символ власти, сказала она. – С тех пор, как сделалась начальником отдела, так и бросил.

– Может быть, и мне? – почти серьезно спросил Лешаков. Девушка выглянула из-за опущенных волос, не понимая, шутит он или советуется. Лешаков осмотрелся опять, но ничего похожего на пепельницу не обнаружил.

– Выкурю и брошу, – сообщил он строго и слез со стола.

До приказа оставалась у него привилегия простого смертного, прогуляться в коридор, в курилку, покурить вместе с людьми.

– Я вам чай пока приготовлю, – сказала Ирина, – с лимоном.

– Отлично, – одобрил Лешаков. – Вижу, вы инициативный работник. Если будет звонить и спрашивать, отвечайте им сами что-нибудь. Вам виднее.

В коридоре, как и всегда в первой половине дня, инженер обнаружил множество народа. Кто-то сновал из двери в дверь с деловым видом. Молодые женщины из соседнего отдела бежали в туалет примерять кофточку. У окна, на продавленном линолеуме толпились болельщики "Зенита", обсуждали вчерашний футбол. Механики, отлучившиеся из лаборатории или с испытательного стенда, озабоченно сбрасывались на бутылку, чтобы поправить здоровье, ослабленное в понедельник.

Продвигаясь к курилке, откуда через раскрытую дверь выплзала путанная паутина дыма и лениво разносилась вонь табака, Лешаков достал мятую пачку с отпечатанной на ней голубой схемой каналов, вытащил папиросу, потрогал пальцами полупрозрачную, вялую, слабо набитую оболочку курительной бумаги и, замедлив шаг, привычно смял твердый картонный конец мундштука, придав ему форму дюзы, прикурил от зажигалочки остановившегося встречного сослуживца (тоже с папиросой), сделал затяжку, первую сегодня, и сухо закашлялся.

– Качество не наше, не то качество, – услышал Лешаков за спиной давний знакомый голос, и промеж лопаток кто-то дружески двинул инженера кулаком. – Московские попались? Нашу фабрику Урицкого каждый год в августе на профилактику останавливают.

– Курить невозможно, – пожаловался Лешаков, откашлявшись, рассматривая сквозь слезы усатое лицо неведомо откуда взявшегося председателя месткома. – Пересушивают они табак, что ли?

– Привычки нет. Москвичи курят, и ничего. На-ка вот мои.

И профсоюзный вождь щедро протянул яркую красно-белую пачку "Мальборо".

– Ого!

– Ничего не ого, а молдавские. Научились, сами шлепаем.

Лешаков взял попробовать, повертел в пальцах редкую сигарету и бережно убрал в нагрудный кармашек рубашки, на потом. Затянулся "Беломором". Председатель месткома прошел рядом несколько шагов по коридору. Вместе они оказались перед дверью в курилку, где было полно народу. Но перед входом профсоюзник придержал Лешакова за локоть, потянул настырно.

– Погоди, разговор к тебе есть... Не при всех.

Лешаков позабыл давнее зло к председателю. Не существовал тот для него, как когда-то и он, Лешаков, не существовал ни для кого из таких. Но мягкий и ловкий, как мячик, человек этот уверенно подпрыгивал рядом, семеня вокруг. Болельщики, заметив общественного деятеля, на всякий случай сменили место, отошли подальше, освободили пространство у окна, и, подталкивая, подергивая, председатель подтащил-таки инженера Лешакова к подоконнику.

– Может, ты думаешь про меня чего, Лешаков? – сказал он хмурясь, все так же подпрыгивая и заглядывая инженеру в глаза. – Зря. Торопишься с выводами, дорогой. Я должок за собой помню.

Лешаков отвернул лицо и недобро ухмыльнулся. Говорить про Польшу не хотелось. Польские работяги таких вот, как этот, выставили на помойку. И Лешаков знал, что вспылит. Напрасная нервозность. Не о чем толковать. Но в председатели месткома выдвигают людей, от которых не так просто отделаться.

– Понимаю, – сказал тот, – я тебя ох как понимаю, дорогой ты мой. Но и ты пойми. Что я мог!.. Сам главный бухгалтер, он путевку эту для супруги потребовал, чтобы вместе поехать, семьей. Директор указание дал: сделай ему. А больше и не было путевок – лимит... С другой стороны, опять же их не выпустили. Вон в Польше сейчас что творится. Можно сказать, повезло тебе, Лешаков, отпуск не пропал. Нет худа без добра. И не дуйся ты на меня, как мышь на крупу. Сам теперь начальство, скоро распробуешь.

Лешаков поморщился. Губа верхняя дернулась презрительно. Но профсоюзник и ухом не повел – ученый кот. Он виду не подал. Он не обратил внимания, не придавал значения – козыри приберегал напоследок.

– Ладно, Польша распрекрасная. Что с нее возьмешь, – проговорил, понижая голос, представитель общественности, нелояльное географическое название он избегал произносить громко. – Пройденный этап. Я к тебе не за тем, – и он опять потянул инженера за локоть.

Смущенный Лешаков даже приготовиться не успел, как оглушили его:

– Путевочка имеется лично для тебя. В Португалию. Двенадцать дней.

Инженер разинул рот, но послать профсоюзника не успел.

– Лиссабон. Белый город. Пальмы. Океан. В декабре купаются. Фруктов навалом. Опять же население дружественное, и цены умеренные. Купишь, чего нужно, и меня не забудешь.

Председатель осклабился и похлопал игриво по животу, обтянутому яркой, привезенной рубашечкой.

– Некоторые личности рвутся в Париж. А что Франция, одни бабы да музеи – разврат сплошной. Без жены и не пускают.

– Ты серьезно насчет главного бухгалтера? – перебил туристскую рекламу посеревший Лешаков. – Ответь по совести.

– А зуб не займешь?

– Выкладывай.
– Абсолютно серьезно. Как на духу тебе... Зато компенсирую Португалией.

Лешаков смотрел прямо в знакомое, противное, с усиками лицо. Он не мог опомниться.

– Я-то думал...
– Индюк тоже думал, да в суп попал.
– Я считал, не пустили меня. Рылом не вышел.

Председатель месткома расхохотался на этот раз искренне и до того неподдельно, заразительно, что Лешаков сам не выдержал, напряженно улыбнулся.

– Не пустили?... Ты даешь, начальник. Ты ведь начальник теперь. Всему вашему отделу начальник.

– Приказа пока не было.
– Ну, без пяти минут начальник. Все равно начальник.

Решенный. Кто же таких не пускает... Я, наверное, не первый год замужем, кумекаю кое-что. Перед тем, как с Португалией, к тебе идти, посоветовался. Как ты думаешь?

– С кем?
– С товарищами, с какими надо. Ответили авторитетно: готовь его – вопрос в окончательном виде не мы решаем, а на другом уровне, но пусть подает заявление.

– Значит, пустят! Так что ли? Говори, они подтвердили?
– Возражений нет.
– В Португалию!

– На декабрь назначено.
– В Польшу не пустили, а в Португалию, пожалуйста?
– Опять двадцать пять, – огорченно замахал руками профсоюзный вожак, но инженер уже не видел и не слышал его.

Нет меня для них, нет, неразборчиво бормотал летевший коридорами Лешаков. На ходу он причмокивал потухшей папиросой. Знакомые лица не узнавал. Не обращал внимания на встречных. Не отвечал на вопросы.

Обалдел окончательно, думали те, кто видел инженера бегущим. Спятил от счастья, из-за повышения, – шутка ли, из серого угла прямо в начальники отдела.

Нет меня для них и не было никогда, внушал самому себе Лешаков. Анкеты, да личные дела в пронумерованных папках, да характеристики, справки, платежные ведомости – бумажки. И никого из живых людей для них нет, не существует. Что хотят, то творят. Своя рука – владыка. Делают с людьми, что заблагорассудится. Ведь что делают, а! Что!

Лешаков бежал коридорами. Не ахти как много и потребовалось, чтобы сердце застучало, запрыгало от избытка вдруг адреналина в крови, а в голове проснулась, замутилась, забрезжила позабытая апрельская ахинея.

– Себе делают... Себе!

Твердь, воздвигнутая усилиями инженерного разума, внезапно покривилась над ним. Злой Сатурн ухмылялся – зложелатель. Он усиливал и усиливал отчаяние человека, угрожал обратить стройные планы, благородные замыслы в хлам, в химеру, опрокинуть в тартарары.

Лешаков задыхался на лестницах, уходил, извивался миногой. Но на горле его захлестнулся аркан. Мысль-гадюка ужалила:

– А может, все... Все напрасно, все зря? Не нами началось, не нами и кончится.

Навстречу попадались сотрудники, спешившие в столовую занимать очередь. Недоуменно оглядывались они на ново-

испеченного начальника отдела, бежавшего сломя голову навстречу человекопотоку.

– Товарищ Лешаков, вам из проходной звонили.
– Кто? – задержался на бегу Лешаков. – Откуда?
– Не знаем. Внизу ждут.
– Где ждут? Кто меня?
– Да не знаем же. В проходной.
– В проходной!

Чуть замедлив шаги, чтобы все-таки не толкаться грубо, нисколько не представляя, кто бы мог снизу звонить и дожидаться на выходе, Лешаков стал спускаться по ступеням в вестибюль, где размещалась вахта. Разве мог угадать он лютость своей доли, точнее, бездоля, прикрытого сибилантизмами слов "седьмое сентября", свистевших, как стая бесовых осенних синиц, сидевших, хрипевших, как в агонии.

Перед будкой, где за пуленепробиваемым стеклом на высоком табурете восседала румяная девка в вохровской шинели с зелеными петлицами, в тесном тамбуре возле телефона внутренней связи – пять шагов в сторону, пять шагов назад – неугомонно мотался очень худой, высохший, как трость, длинный, нескладный молодежавый человек со свертком под мышкой. Лешаков его сразу узнал. Был это приятель институтских времен, отчисленный с четвертого курса за моральное разложение и подвизавшийся парикмахером в модном салоне на Литейном, Аркаша Хрусталева – тихий ходок.

Никто не взялся бы объяснить, как у тщедушного хлыста Хрусталева хватало энергии и обаяния без устали оглушать и ослеплять бесчисленных женщин. Откуда что бралось. Гармония гормонов, определял Лешаков. Он нисколько не завидовал Аркаше, но и не осуждал, не задавался чужими дюжинами, не приставал с расспросами. И Аркаша, как суровый профессионал, избегавший разговоров о женщинах, испытывал к Лешакову смутное доверие, иногда посвящал его в подробности пикантных авантюр. Со студенческих дней между ними сохранился контакт, своего рода взаимопонимание. Но соблюдалась и дистанция.

И в тот раз – хоть и был он в крайне возбужденном состоянии – на полтона стих Лешаков, когда метнулось перед ним длинным матовым профилем испитое Аркашино лицо, а из-под вялых, мешками, век встретил инженера синий резкий взгляд.

Сунув пропуск с фотокарточкой не ожидавшей вахтерше, Лешаков пробежал через никелированный турникет, еще не представляя, что делать, как вести себя с непонятым, непрошенным пришельцем, о чем говорить. Но виновато вздрогнули губы дамского любимца. И руки Лешакова сами вскинулись, чтобы обнять приятеля. Аркаша от объятий уклонился, позволил лишь похлопать себя по спине. В другой раз инженер не преминул бы засчитать себе минус, ноль-один в пользу партнера, но ему было не до того.

– Пропуск заберите! – крикнула девушка из будки.

Лешаков неопределенно махнул ей рукой, подхватил Хрусталева за локоть и распахнул дверь на звонкой пружине. Вместе они выкатились из подъезда. Ветер подхватил их, понес по панели вдоль улицы, как сор.

– Ты извини, Лешачок, – спешил объясниться Хрусталева. – Не дело, конечно, что я только сейчас собрался.

– Какие дела? О чем ты?

– Забери, – совал Хрусталева инженеру прилежно оформ-

ленный, перехваченный бечевой сверток. — Чин-чинарем, выстирано, выглажено. Полный атлас!

Лешаков развернул пакет. Там была простыня. Его простыня. Его, Лешакова, номерок для прачечной. С простыней в руках он остановился на углу, у газетного киоска.

— Первого апреля, — втолковывал Хрусталеv. — Я ведь записку тебе оставил.

Лешаков не понимал.

— Помнишь, парень там один вырубился, театрал? Ты ему помогал и костюм перепачкал. Тебя оставили ночевать. Помнишь?

— Естественно.

— А мы с Настей прицелились именно на тот диван, что ты занял. У нее дома мамаша, у меня бабушка. Сам знаешь... Тогда я взял у тебя ключи из кармана, и мы махнули скоренько на бульвар.

— Ко мне!

— Куда же еще... Я тебя, между прочим, спросил тогда, а ты заладил свое, что не поедешь, что некуда тебе ехать, и все мы русские люди. Настя и предложила: раз такое дело, чего стесняться, зачем жилплощади зря простаивать. Утром, перед работой, я забежал, ключи занес хозяевам, записку мы вместе написали. Ты отсыпался, не будить же человека из-за пустяка.

— Была записка, — неуверенно припомнил Лешаков давние подробности. — Я думал, не мне.

— Так ты не знал?

— Не читал.

— Не знал и не читал?

— Нет.

Лешаков не шевелился на ветру. Он испытывал боль такую, словно был он один сплошной синяк.

— Простынку Настя взяла, постирать. Вот.

Хрусталеv благодарно поклонился, пошучивая над остолбеневшим приятелем и кривляясь, чтобы скрыть неловкость.

— Так это вы? — проговорил наконец Лешаков, оглушенный новой миной, он был похож на человека, провалившегося в подкоп. — Вы там все перерыли?

— Что перерыли-то, что?

— Дома у меня.

— Ты это брось, — окрысился Хрусталеv. — Ничего мы не рыли. Вообще, не трогали. Пластинки послушали, да и то тихо, чтобы соседи не того.

— Значит вы!

— Я же объясняю по-русски.

Лешаков в объяснениях не нуждался. Ни в чем он более не нуждался. Даже в пальто. Ветер прохватывал насквозь. Инженер вдруг подумал, что плащ остался на работе, висит на гвоздике. Но вернуться в родную, опостылевшую контору, в отдел, в кабинет начальника, в свой кабинет, где остывал заботливо приготовленный Ириной чай с лимоном, было выше его сил. Он не мог. Органически. Был не в состоянии. Он подумал безо всякой связи, что, видимо, никогда уже и не сможет, не вернется. Не следует возвращаться. Все это ненужное, нелепое. В другой жизни. За чертой.

— Стыд-то какой, — испугался он.

Лешаков стоял на углу широкого проспекта и зеленой, тенистой улочки, куда выходило окнами здание проектной организации. Он там работал. Оттуда он ушел, чтобы... Стоп. Сегодня, седьмого сентября, в семь часов.

Рядом топтался человек, старый знакомый, занудная дрянь. Он объяснял Лешакову ужасные вещи. Если поверить,

выходило, что... Если поверить им всем. Но нельзя.

Лешаков не верил.

Он знал, это просто еще одна их какая-то правда. Веры в себе он не предполагал. Верить не собирался НИКОМУ, НИКОГДА, НИГДЕ, НИ ЗА ЧТО, НИ ПРИ КАКИХ... А человек молот и молот языком, благо, без костей язык, сообщал подробности.

Лешаков с простыней в руке отшатнулся и шагнул за киоск.

— Погоди. Рядом кафетерий открыли новый, — закричал Хрусталеv. — С меня причитается.

Он замахал руками, захопотал. Но Лешакова и след простыл.

Литотой — непомерным преуменьшением силы смысла, значения, размера того, что произошло с Лешаковым в полдень седьмого сентября, — будет любая попытка описать постигшее его состояние, когда в шоке, не воспринимая ничего из окружающего, оглушенный и ослепленный, выхолощенный, раздавленный и брошенный инженер брел без дороги, не глядя ни по сторонам, ни под ногой, не разбирая ни тротуаров, ни рельсовых путей, между панически сигналившими ему автомобилями и шарахавшимися прохожими, под безответными деревьями, сквозь солнечный, продутый осенними ветрами город, и в сцепленных, покрасневших от холода пальцах простыня плескалась по воздуху, как белый флаг.

Шлак, вот чем стал к полудню инженер Лешаков. Ни уголька не рдело в душе. Никогда еще не был он такой один.

— Как жить? — шевельнулся в нем стон.

Он уже знал, что не сдюжит. А тогда оставалось лишь погрузиться в грязь. Прежняя болотная серая жизнь простиралась впереди. Вот оно — лицо неперсонифицированного противника.

Не было альтернативы. Завтра он вернется на службу, в проектную организацию, возглавит отдел, в декабре поедет в Португалию и привезет оттуда еще одну рубашку председателю месткома, а потом перейдет на другую работу повыше, в управление, в главк, в министерство, купит квартиру, выстроит дачу за городом, переманит, заберет Веронику от мужа, станет со временем сам рогоносцем, а затем и старым, всеми уважаемым дураком. Общественная машина саморегулируется. Эxecуция медленна, но неотвратима. Слухи о том, что этим миром кто-то правит, сильно преувеличены. Сегодняшние процессы плохо поддаются управлению. Рыпаться не стоит. Иначе стена просто опустится и задавит.

Среди бела дня Лешаков оказался ограблен. Всех сокровищ лишен — бриллианты оказались стекляшками. Он остался ни с чем. Стал нищим, разоренным без рода, без племена.

— Что же я — неужели говно?

Но блаженны нищие духом.

Исподлобья инженер огляделся вокруг. В ракурс попали торопливые люди. Демос. Для них он готовил слово. Для каждого. Не для народа, не для толпы, не для партии, не для общества и уж, конечно, не для человечества. А для каждого, самоценного, как сам Лешаков. Каждый — человек.

Толпа состояла из человекoв. Своим стадным укладом она принуждала их втапывать друг друга в болото, в грязь, в смерть. Лешаков ничего другого и не хотел, только на свой страх и риск одиноко обратиться к каждому в отдельности, апеллировать к одиноким чувствам и переживаниям человека.

Стадо всегда против одного. Но оно не всеильно. Как и всякое стадо, человеческое общество склонно к распаду. Оно поддается. И это не следует забывать. Если правильно воздействовать, оно распадается. Надо просто разлагать общество на людей. На каждого в отдельности. И противостоять ужасу коллективного, бессознательного насилия до конца, как дыханию смерти.

”ЧЕЛОВЕК! НЕ ВЕРЬТЕ...”

Верить или не верить — две стороны одной медали. Убеждая не верить, он добивался, чтобы ему поверили. Ему и больше никому. Подменяя одно отражение другим, он просто потерялся в зеркалах.

Словно морозом по коже продрало Лешакова от такой откровенности. До сих пор он был вчерне человек, за что и получил напоследок от судьбы беспощадный напутственный вытек. Шоры упали. Он ощутил сдвиг. После шока вновь испытал тонкую новую боль, будто кожу сняли с него и пустили бежать, но оторвали, отделили от того подлого, спасительного, частью чего он до сих пор был, несмотря ни на что, оставался.

— Ведь я что... Русский человек — предназначен!

Русские представлялись ему особой измученной расой. Опять была соблазняющая идея, опять подмена. Но теперь он уже не в состоянии был польститься: фальшь вызывала нестерпимую тошноту. Душа стала сплошным ожогом. В корчах он очищался.

— Я — ничто.

Жить стало нечем, ждать, терять окончательно нечего. Разве что флаг. И он, скомкав, засунул в урну для мусора крахмальную простыню.

Больше Лешакову не нужно было ни конторы, ни Португалии, ни почетной старости, ни Вероники, ни дома, ни плаща от ветра, ни семи часов вечера. Ничего — ни причины, ни повода, ни конца, ни начала. От рождения Лешаков был задействован, подписан на то, что согласия его и не требовало, так же, как и номенклатурный работник, актер, Вероника и Лиля, десятки людей вокруг него, миллионы до него, при нем и после него: благородный Петя, Митин брат со своей негасимой лампой, бледноглазый человек и Ваня-швейцар, Яков с костистым кадыком, опрятный незнакомец в ватнике, канувший в Канаду Мишаня, негры в военных ушанках, поющие студенты, подлый председатель месткома, продажный метродотель и трудолюбивый начальник в нечищенных ботинках — судьбы их были тесно сплетены в единую судьбу народа и страны, от которой зависели многие остальные судьбы и, может быть, судьба Земли, пока еще живой и теплой, в отчаянии одинокого и неразделимого полета несущейся сквозь ледяную судьбу вселенной.

Истина конкретна. Лишь на миг Лешакову приоткрылись смысл сущего мира и начало, проникающее существо бытия от бесконечно малого до бесконечно большого. Но мига хватало.

С тем Лешаков свернул за угол и выбежал к бульвару. На скамейках под кленами не было ни детей, ни старух. Аллея прозрачно просматривалась насквозь. Сорванные штормом листья кружились и шуршали по асфальту. Ветер и решимость холодили грудь. Переулок открылся навстречу желтыми фасадами, задымленными, закопченными. Грязный серозеленый угол родного дома заострился, разинул подворотню.

Инженер втянул голову, шмыгнул мышкой. Пробежал под аркой во двор. Рука привычно юркнула в карман, но

не нашла, заметалась. Он похлопал ладонью пиджак, брюки. Ключ остался на службе, в плаще. Лешаков остановился перед подъездом.

Секунду он постоял у двери парадного, словно в раздумье, в сомнении. Словно в предостережении. Но ни страха, ни осторожности не сохранилось в нем. Выболело все. Мозг поглощен был дискретной задачей. В квартире кто-нибудь да есть, подумал инженер, позвоню. А дверь в комнату легко вышибить плечом — моя комната, моя дверь. Ему и надо-то было зайти на минуту всего.

Привычно Лешаков пнул ботинком глухую створку парадного, нырнул в знакомый, пахнувший кошками полумрак и устремился наверх.

На подоконнике между вторым и третьим этажами пристроились двое хмурых мужиков с озябшими лицами, в плащах с поднятыми воротниками, — расстелили на крашеной доске газетку и шустрили с закуской. Лешакова оглядели внимательно, недовольно. Он прошел мимо, когда его окликнули.

— Друг, стакана не найдется?

— Вынесу, — отвечал на ходу Лешаков.

Он взошел на площадку к себе, отдышался и заметил, что и наверху происходит возня, разговаривают люди. А дверь в квартиру не заперта.

Подобные вещи с дверью случались не впервой, сегодня так и особенно кстати. Удивить Лешакова было трудно. Инженер лишь посетовал невольно на то, что как и всегда в холодную погоду набралась полная парадная ханыг, а соседи легкомысленны.

Он тщательно притворил дверь, почти не оставляя щели, но так, чтобы не защелкнулся замок, и побежал по коридору, оклеенному выцветшими от времени, пыльными обоями, минуя стоявшие у стен сундуки и корзины с чужим скарбом. Голая лампочка на грязном шнуре под потолком освещала путь.

С разбегу инженер саданул в белую дверь так, что она разлетелась, раскрылась на две половины, потому что тоже не была заперта. Ничего не понимая, хозяин ворвался в комнату, ярко освещенную, залитую светом, полную незнакомых, неведомо откуда взявшихся людей. Они занимались чем-то серьезно и страшно. Рылись в секретере и в шкафу, переворачивали белье. Среди них Лешаков узнал дворника Пашу, который в ответ развел руками и отвернулся.

Лешаков механично застегнул пиджак и тут понял, что присутствующие все обернулись и смотрят на него, на инженера Лешакова, хозяина этой комнаты, этого громадного чемодана, стоявшего на столе. Чемодан был взломан, крышка болталась на петле, и три серебристые ракеты грустно торчали носами в закрытое окно.

Лишь один человек не повернул головы. Он сидел за столом, рассматривал устройство чемодана и быстро писал. Инженер хотел было подойти, но тот поднял голову.

И тогда Лешаков узнал гладкую прическу на косой пробор, округлое, чуть пополневшее любопытное лицо и ставшие совершенно белыми глаза.

— Что ж, — произнес бледноглазый человек вежливо, с прежним окающим выговором, и поднялся навстречу. — Предупреждал я, что мы встретимся, гражданин Лешаков.

ефим гаммер



принцесса сахар- ного коро- левства

19. Великан Марципан

Принц Тоби неумоимо шагал по тропинке, которая вела во владения злого великана Марципана, хозяина молочной реки и кисельных берегов. Следом за ним топал Мудрец, в руках, как младенца, он нес Богатыря, а на шее принцессу Беллу.

Наши путешественники шли и час, и два, и три, пока перед ними не встал неприступный лес. Сквозь него не пройти, не пробиться.

Что делать? Мудрец решил показать свою силушку принцу Тоби. Он снял принцессу с плеч, положил на землю немощного Богатыря и стал вырывать деревья с корнями, очищать путь. Но там, где он вырвет дерево — сразу вырастают два. Там, где он вырвет два дерева, тотчас вырастают четыре.

— Остановись! — закричала ему принцесса.

И Мудрец остановился, вращает глазами и удивляется: лес стал еще более неприступный.

Богатырь не мог вращать глазами, и сил у него не хватало даже на удивление, но он разумно рассудил: там, где бесполезна сила, вполне уместно чудо. И прошептал:

— Принц Тоби — волшебник...

На большее у него не хватило сил. Однако принцесса догадалась, что намеревался сказать Богатырь. И обратилась к принцу Тоби:

— Принц, помоги нам пройти сквозь лес. Я тебя отблагодарю по-королевски.

— Не надо благодарностей, принцесса, — сказал принц

Тоби. — Я и без благодарностей готов творить для тебя добрые чудеса.

И принц Тоби размахнулся топором Отшельника-дровосека, запустил его высоко в небо и прочитал волшебное заклинание: "Аро-маро, раз и двас, чудо будет вам сейчас". И, действительно, случилось настоящее чудо: топор с небес ринулся в атаку на деревья — и ну рубить их под корень! Раз-два — подрубает ствол, дерево падает на землю, а на его месте не вырастает другое. Раз-два, раз-два, рубил волшебный топор и рубил, и прорубил просеку. А потом вернулся к принцу Тоби, скользнул к нему за пояс и замер рядом со шпагой.

— Принцесса, путь очищен! — сказал принц Тоби. — Можем идти дальше.

Мудрец опять почувствовал себя виноватым перед своей повелительницей. Встал перед ней на четвереньки, как собака, чтобы ей легче было сесть ему на шею, сграбастал Богатыря и поспешил вдогонку за принцем Тоби, который уже вышел к молочной реке и шагал по береговому киселю.

Догнал его Мудрец, наклонился, зачерпнул киселя — ах, как стало ему вкусно. Дал он попробовать киселя принцессе, и ей стало вкусно. Затем он зачерпнул молока из реки, попил, и стало ему еще вкуснее. Дал он попробовать молока и принцессе. Той тоже стало еще вкуснее.

Богатырю тоже хотелось вкусенького. Но Мудрец о нем позабыл, не дал попробовать вкусенького. И тогда Богатырь напомнил о себе:

— Принцесса, отблагодари принца Тоби по-королевски

и попроси повернуть молочную реку в наше королевство. Будет у тебя и твоих придворных всегда что-то вкусненькое. Да и мне, полагаю, перепадет.

— А что? Принц у нас волшебник! Пусть повернет реку в Сахарное королевство! — обрадовалась подсказке Богатыря принцесса Белла.

И принц Тоби обрадовался, что принцесса о нем не забывает, только и думает о том, чтобы он демонстрировал ей свое волшебное мастерство.

Выхватил принц Тоби из-за пояса топор Отшельника-дровосека, размахнулся им, забросил высоко в небо, прочитал волшебное заклинание: "Аро-маро, раз и двас, чудо будет вам сейчас". И чудо свершилось. Топор с небес упал в молочную реку, вспенил ее, выплыл на поверхность и пошел прорубать новое для нее русло. И потекла река в Сахарное королевство. И двинулись за нею кисельные берега.

И было от этого зрелища так хорошо нашим путешественникам — лучше не бывает. Но тут смазал их общую радость злобный великан Марципан. Появился он вдруг, неизвестно откуда, навис, как огромная скала, над нашими героями, потрясает кулаками, каждый из которых величиной с бочонок, и орет:

— Как вы посмели воровать мою молочную реку и мои кисельные берега? Вот я вас сейчас растопчу!

Как ударит ногой по кисельному берегу, брызнул кисель во все стороны, налетел шрапнелью на путешественников, повалил их в кучу-малу, измазал до невозможности.

Богатырь тут же лишился чувств. Мудрец схватил его за ноги и метнул в злобного великана Марципана, чтобы пришибить его. Но не пришибил. Стукнулся о его могучий лоб Богатырь и отлетел, как пушинка. Пришел в себя, лежит на кисельном берегу, потирает шишку на голове и плачет от бессилия.

Принц Тоби выхватил шпагу, закрыл грудью принцессу Беллу и ждет, что будет дальше. А дальше было вот что: принцесса Белла отряхнула со своего платья комья киселя, смело выступила вперед и начала переговоры со злобным Марципаном:

— Многоуважаемый великан! Не будь, пожалуйста, жадной. Что тебе молочная река и кисельные берега? Обоешься, обьешься — живот заболит. Поделись своими богатствами с моим королевством. Люди будут пить молоко — тебя добрым словом вспоминать. Люди будут кушать кисель — тебе хвалу возносить.

— Хвалу возносить — это неплохо. А то меня только ругают, — ответил великан Марципан. — Но отдам вам реку, отдам кисельные берега, что мне тогда приносить по утрам колдунье Касторке? Она же меня со свету сживет! Нет, мне такие неприятности не по душе. Лучше я вас растопчу!

И опять как топнет ногой! Повалились опять от кисельной шрапнели все наши герои. А великану Марципану только того и нужно. Сделал он шаг, сделал еще один — надвигается горой на кучу-малу, вот-вот растопчет ее.

Понял принц Тоби: не переговоры с ним вести нужно, а превращать его в обыкновенного кузничика, чтобы не пугал он людей, а радовал их своими забавными прыжками. Принц Тоби знал, как это сделать. Да и ты, читатель, наверняка помнишь: надо щелкнуть великана по носу, прочесть волшебную скороговорку — вот и все. Но как щелкнуть великана по носу, если он ростом почти до неба? Как? А очень просто!

— Ну-ка подкинь меня вверх, — попросил принц Мудреца.

Мудрец тотчас его и подкинул.

Взлетел принц Тоби высоко-высоко. Марципан распахнул рот. Но не успел проглотить принца, получил щелчок по носу, скривился от недовольства и не услышал заклинания: "Аро-маро, раз и двас, чудо будет вам сейчас". И хотя злобный великан Марципан не услышал заклинания, это, однако, не спасло его от неприятностей. Вмиг он стал самым обыкновенным кузничиком и запрыгал по кисельному берегу, радуя своими забавными прыжками наших героев. Прыгал-прыгал бывший великан Марципан по кисельному берегу, чуть было не свалился в молочную реку, где непременно бы утонул. Но не дал принц Тоби ему утонуть, ловко накрыл его ладонью — поймал и подарил принцессе Белле. А принцесса Белла положила его в кармашек — пусть кузничик прыгает там, в кармашке, в безопасности, и сказала:

— А теперь нам пора продолжать путь.

ОТ АВТОРА: И действительно, им пора продолжать путь, чтобы вовремя успеть остановить войну. И они весело пошли через владения бывшего великана Марципана самой короткой дорогой в Конфетное царство. А волшебный топор пробивался через лес в обратную сторону, в столицу Сахарного королевства, чтобы привести туда молочную реку и кисельные берега.

У каждого своя дорога. И у нас, дорогой читатель. Мы с тобой отправимся... Куда? Правильно, на поле битвы. И поспеем как раз к началу генерального сражения.

20. Генеральное сражение

Две враждующие армии выстроились на поле боя, возле разрушенного города Рафинада, одна против другой. Доспехи блестели на солнце. Сверкали мечи и наконечники копий. Кони ржали в предощущении битвы. Солдаты выкрикивали оскорбления неприятелю.

— Трусые вы, трусы! — кричали солдаты Конфетного царства. — Мы изрубим вас на куски!

— А мы вас шапками закидаем! — отвечали им солдаты Сахарного королевства.

Вперед войск выехали горнисты, протрубили сигнал к атаке. И началось... Во всю прыть рванула вперед конница Конфетного царства. Со всех ног помчались в наступление пехотинцы Конфетного царства. И вдруг — о, изумление! Армия Сахарного королевства повернулась к противнику спиной и ну отступать! ну бежать без оглядки!

Попробуй, догони таких шустрых! А как их догонишь, если драпают по полю боя быстрее самых резвых лошадей? И, конечно же, армия Конфетного царства не догнала армию Сахарного королевства, только выдохлась! А это как раз и надо солдатам Сахарного королевства, потому что они тоже выдохлись.

Вот и выходит, не получилось генеральное сражение. Поняли это солдаты, повалились на травку — отдыхать. А где отдых, там и обед.

Не заметили солдаты враждебных армий, как сбились в общую кучу. Стали делиться съестными припасами, попить из походных фляжек сироп и обмениваться впечатлениями от неудавшейся битвы.

— Почему ты так прытко бежал? — спрашивал конфет-

ный гвардеец у сахарного. — Я никак не мог тебя догнать и всадить под лопатку копьё.

— А чего тебе за мной бегать? — недоумевал сахарный гвардеец. — Лишь умаешься зря. Пробежался бы немного, для видимости. И хватит! Все равно тебе в тыл ударят наши резервы — и конец! Хоть бы отдохнул перед бесславной кончиной.

— У меня никак не может быть бесславная кончина! Потому что царь Мармелад обещал славой с каждым солдатом своим поделиться.

— Хватит ли его славы на всех вас? Подумай, что каждому из вас достанется? По крошке! А я вот, хочешь, с тобой половиной своей славы поделюсь.

— А что у тебя за слава?

— Моя слава — это слава лучшего пирожника страны!

— О, это очень вкусная слава! Но как ты со мной поделишься славой, если велено мне убить тебя?

— А ты не убивай меня! Я не буду убивать тебя! Всех-то делов!

— Я не хочу тебя убивать. Но если я не буду убивать тебя, меня убьёт царь Мармелад. А если ты не будешь убивать меня, тебя убьют министры.

— Выходит, никак нам с тобой славой не поделиться?

— Выходит — так!

И с горя зарыдали два гвардейца, конфетный и сахарный. Очень уж им не хотелось убивать друг друга.

ОТ АВТОРА: Да и мне, дорогой читатель, не хочется, чтобы они убивали друг друга. Другое дело царь Мармелад! Без того, чтобы солдаты убивали друг друга, ему не добыть для себя славы великого завоевателя. Вот потому царь Мармелад очень огорчился, когда увидел в подзорную трубу, что битва окончилась ничем. Посочувствуем ему? Ни в коем случае! Пусть сидит на своем троне, грызет от досады ногти и мучается. А мы с тобой, дорогой читатель, поспешим к принцессе Белле, принцу Тоби и их спутникам. Наши путешественники подошли уже к границе Конфетного царства. А ведь там, как ты помнишь, злющие пограничные стражники. Что-то будет теперь с нашими героями?

21. Главный палач

— Шпионы! Шпионы! — закричали пограничные стражники сразу же, как заметили пересекающих границу.

— Взять их в плен! — приказал стражникам командир поста.

— Не отдам принцессу в плен! И себя не отдам! И вообще никого не отдам в плен! — забушевал Мудрец. Прижал к груди принцессу Беллу правой рукой, выставил перед собой, как щит, Богатыря и приготовился к обороне. Принц Тоби не готовился к обороне, он готовился к нападению: выхватил шпагу и пошел на врагов.

Стражники набежали на него, давай махать мечами. Но никак им не подступиться к принцу Тоби, чтобы взять его за грудки, разоружить и пленить. Наоборот, принц Тоби ловкими ударами шпаги выбил из их рук мечи, пообрезал стражникам усы, а заодно и поясные ремни. Упали у стражников штаны. А без штанов, известное дело, не повоюешь. Повалились стражники в ноги принцу, взмолились: "Не убивай нас, безоружных! Лучше возьми в плен!"

— Я согласен вас взять в плен. Но с одним условием.

— Каким?

— Отведите меня и моих спутников к Главному палачу Конфетного царства.

— К Приблудному псу? — ужаснулся командир пограничного поста. — Он же всех вас съест! Да и нас тоже!

— Не съест! — заверил его принц Тоби.

— Что ж, тогда пожалуйста в карету.

Сели наши путешественники в карету. Сел командир пограничного поста на облучок и погнался лошадей.

— Эй! Коня-птицы! Рысью!

Прытко летела карета. Мелькали за окнами деревни и города. Было нашим героям приятно от победы над пограничными стражниками. Мудрец восторженно пускал розовые пузыри. Богатырь пригрелся у него на груди, посапывал. Принцесса Белла беседовала с принцем Тоби.

— Принц, скажи мне, почему мы едем к Главному палачу?

— Без него, принцесса, нам не остановить войну.

— Да?

— Да, принцесса. Отшельник-дровосек надоумил меня приручить Приблудного пса, явиться с ним в стан царя Мармелада и...

— Поняла! Поняла! — перебила принца принцесса. — Все мармеладовцы страшно боятся Приблудного пса. Он для них страшней войны. Вот они и прекратят войну, чтобы не быть съеденными Главным палачом.

— Правильно, принцесса.

— Но, принц, как ты приручишь Приблудного пса? Он никого к себе не подпускает.

— Не волнуйся, принцесса. Это моя забота.

— Но, может, принц, вызвать на подмогу Автора? С ним верней.

— Не надо! Ты же сама хотела довести сказку до благополучного конца без авторской помощи.

— Хотела, да. Но вдруг у нас с тобой не выйдет благополучного конца? И с тобой, принц, что-нибудь случится. Я этого, милый, не переживу! Я так к тебе привыкла, что для меня сказка не сказка, если тебя нет рядом.

Очень пришлось по душе принца Тоби такое признание принцессы Беллы. Он нежно погладил ее руку, сказал:

— Клянусь тебе честью принца и доброго волшебника, я доведу сказку до благополучного конца!

Но до конца сказки еще далеко. А до конуры Приблудного пса близко.

— Приехали! — воскликнул командир пограничного поста. Спустился с облучка на землю, открыл дверцу кареты.

А тут Приблудный пес как залает:

— Гав-гав! Кто пожаловал мне на обед?

— Выйди из конуры, увидишь, — ответил ему принц Тоби, выпрыгнул из кареты, обнажил шпагу и смело приблизился к конуре.

Зазвенела металлическая цепь. Вылез из конуры Приблудный пес, сладко зевнул, облизался.

— Ходь ко мне на зубы, — ласково сказал принцу.

А тот — какое неуважение к Главному палачу — пощекотал его ноздрю шпагой.

— Ой! — испугалась принцесса. — Съест этот разбойник принца, с кем я останусь?

— Со мной! — важно сказал Мудрец.

Но принцесса толкнула его в бок.

— Иди помоги принцу.

А как помогать принцу, принцесса не сказала. Посмотрел Мудрец, что делает принц. Видит, он щекочет шпагой в ноздре Главного палача. Решил и Мудрец пощекотать в ноздре Главного палача. Но чем? Шпаги у него не было. Вот он и стал ногой Богатыря щекотать в ноздре Приблудного пса.

Приблудный пес от такого нахальства разъярился, чуть было не перекусил Богатыря пополам. Но Мудрец вовремя отпрянул от ужасных клыков. И такая его взяла злость, что он тут же закинул конуру Приблудного пса за облака.

— Ой! — заскулил Главный палач. — Где мне теперь жить?

— Живи где знаешь! — гневно бросил ему Мудрец. — Ты дурной пес. А дурных псов отправляют на живодерню.

— Не хочу на живодерню! — заплакал Главный палач.

— Я тебе помогу! — сказал ему принц Тоби. — Я могу переправить твои дурные наклонности на хорошие. Ты будешь доброй собакой. Тебя будут все любить, щекотать за ухом. Это же очень приятно!

— Сделай, сделай мне приятно! — взмолился Главный палач. — Я буду твоим верным слугой! Буду лежать у твоих ног! Охранять твой покой!

Принц хотел было пощекотать Приблудного пса за ухом. Но тот как шелкнет зубами.

— Не подходи! Пока еще у меня дурные наклонности. Я могу тебя невзначай съесть.

Засмеялся принц этим словам, как шутке. Взмахнул шпагой, прочитал волшебное заклинание: "Аро-маро, раз и двас, чудо будет вам сейчас". И — о, чудо! — Приблудный пес умильно завилал хвостом, лизнул принца в нос и поклялся верно служить ему до самой смерти.

Но как Приблудному псу служить принцу, если он на цепи? Цепь есть цепь, она железная, ее не расколдуешь. А ее и не надо расколдовывать, ее надо порвать. Это и сделал Мудрец. Взял цепь в свои руки, напрягся и — хрясть! — лопнула цепь, освободила Приблудного пса для новой жизни.

— А теперь все в карету! — приказал принц Тоби. — И во всю прыть — в стан царя Мармелада. Пора прекращать войну!

Командир пограничного поста вновь сел на облучок, стегнул коней кнутом. И помчались наши герои на поле битвы.

22. Благополучный конец сказки

Царь Мармелад нетерпеливо грыз свои царские ногти, не слушал речистых былинников, придворных подхалимов. Только твердил:

— Подать сюда недотеп-министров! Я их быстро научу, как вести войну!

И подали министров царю Мармеладу. Их скрытно от армии Сахарного королевства привез в стан царя Мармелада дворник, который вовсе не дворник, а Начальник личной контрразведочки.

Бросили министров к ногам царя Мармелада. Он стукнул их жезлом главнокомандующего. У министров мозги — опять набекрень. Но теперь у Первого министра мозги съехали набекрень-направо, а у Второго — набекрень-налево.

Подмел за ними сахарный песочек дворник, который на самом деле не дворник, а Начальник личной контрразведочки, дал им по бокам: слушайте царя и повинуйтесь!

Слушать министры готовы. И повиноваться готовы. — Приказывайте, ваше непревзойденно-всемирно-все-ленское величие! Мы все исполним!

— Прежде всего, замухрышки-министры, — начал царь Мармелад, положив ноги на ушибленные головы министров, — война — это не соревнование по бегу!

— Да, да! Война — не соревнование по бегу, ваше непревзойденно-всемирно-вселенское величие!

— Сейчас мы перестроим воинские части. И повторим атаку.

— Повторите! Повторите! Мы всегда рады вашей атаке, ваше непревзойденно-всемирно-вселенское величие!

— Мы повторим атаку. Но смотрите мне, отступайте медленнее. За излишнюю резвость ваших солдат при отступлении — смертная казнь! Самых быстроногих самолично рублю на куски, ибо они портят мне праздник.

— Жизни солдат не пожалеем! Будут отступать насмерть, ваше непревзойденно-всемирно-вселенское величие!

Но не пришлось солдатам Сахарного королевства отступать насмерть, как того хотел царь Мармелад, как того хотели министры. У входа в царский шатер остановилась карета. А из нее — о, ужас! — выпрыгнул Приблудный пес — Главный палач Конфетного царства.

Как увидели Главного палача, так и замерли все от страха. И царь Мармелад, и Начальник личной контрразведочки, и министры, и речистые былинники, и все-все-все солдаты обеих враждующих армий. Все боялись Главного палача пуще смерти, потому что он в пять минут мог сожрать и царя Мармелада, и Начальника личной контрразведочки, и министров, и речистых былинников, и обе армии. Никто ведь не знал, что отныне Главный палач уже не Главный палач, а просто добрый пес, верный друг принца Тоби и принцессы Беллы.

Принц Тоби и принцесса Белла вошли в шатер царя Мармелада, сказали ему:

— Хватит! Навоевался! Война окончена!

— Как же, окончена? — с дрожью пробормотал царь Мармелад. — А кто же без меня завоеует весь мир?

— Мир завоевывать не надо! — сказала принцесса Белла.

— Пусть себе мир остается незавоеванным. Так спокойнее, — сказал принц Тоби.

А царь Мармелад послушал их, послушал, покосился на Приблудного пса. А тот ласково по-собачьи ему улыбается. Не догадался царь Мармелад, что Главный палач стал просто доброй собакой. Подумал, что, по старой памяти, Приблудный пес готов служить ему верой-правдой. Да как крикнет ему:

— Куси! Куси! — и пальцем тыкает в принцессу Беллу и принца Тоби.

Приблудный пес послушно распахнул пасть и... Ты угадал, читатель, проглотил царя Мармелада. Проглотил царя Мармелада и сконфуженно потерся носом о сапог принца Тоби, будто оправдывался: в последний раз сладким полакомился.

Не стало царя Мармелада. А с ним не стало и непревзойденно-всемирно-вселенского величества, маршала и генералиссимуса. То-то стало легко всем и привольно. Не надо воевать, можно дружить.

— Война закончена! — объявила всем-всем-всем принцесса. — Начинается праздник! Всех приглашаю в свой королевский дворец! Будет вам молочная река и кисельные берега!

– Ур-ра принцессе Белле! – радостно закричали воины обеих армий.

И действительно, чего им не радоваться. Лучше угощаться молоком и киселем, чем убивать друг друга. Не правда ли?

Полетели вверх шапки! Запрокинулись походные флажки! Загремели разудалые песни! Всем хорошо, только министрам плохо. Уличила их принцесса в предательстве. Не простит! Бухнулись они в ноги принцессе Белле, стали каяться в грехах.

– Прости нас, принцесса. Мы тебя замуж выдадим. Станешь королевой. Будешь повелевать нами.

– Я и без вас замуж выйду! – ответила им принцесса.

– Я и без вас стану королевой! А повелевать вами не буду.

Потому что мозги у вас набекрень. А с такими мозгами можно лишь витать в облаках, а не прочно стоять на земле.

Услышал тут Мудрец, что министрам можно витать в облаках, да и закинул их в небо – пусть повитают! Это же удовольствие, витать в облаках, когда все прочие вынуждены всего лишь ходить по земле. Неизвестно теперь, когда эти министры спустятся с небес на землю. Вот когда они спустятся на землю, тогда и напишем вторую сказочку о Сахарном королевстве. Согласен, дорогой читатель? А раз согласен, можешь спокойно закрывать книжку – сказка пришла к благополучному концу.

«КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.

Зам. главного редактора НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.

Ответственный секретарь ВИОЛЛЕТТА ИВЕРНИ.

Зав. редакцией АЛЕКСАНДР НИССЕН.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже:

10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.

Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.

Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

вадим крейд

Сидели, галдели, балдели,
И лилась и речь, и вино,
И знали – на этой неделе
Златое отыщется дно
И древний философ камень,
И юный, как йог, эликсир...
Казалось, касались руками
Орфеевых лютен и лир.

Клубилась лиловая липа,
И вились над ней голубки.
До ночи – до крика и хрипа,
От пьяни – до мести тоски.
Какие-то мальчики русские
И гость – наблюдательный сноб.
Идеи, как семечки, лузгали,
Но вечности трогал озноб.

Вечереющий день, как подарок –
А была будто черная тушь
На душе – и теперь без помарок
Отражается в зеркале луж.
Ты припомнил босые покосы
И медовые в поле стога –
Поджидали красивые осы
Своего дорогого врага.

Ты случайный, залетный, нездешний,
Где цветет голубеющий лен,
Будто крошечный карлик в кромешной
Колыбели кондовых времен.
Расстегни затянувшийся ворот
И спокойно от ос уходи
В вечереющий медленный город
Где-то слева -- комочком в груди.

Час четвертый – и солнце, и лето,
Смоляные стволы на холме.
В дланях Бога согрета планета.
Ты сидишь на скамье, на корме.
Все затихло на озере сонном –
Листья лилий, лазурь, иван-чай.
В этот час, в этом месте укромном
Слышать музыку сфер невзначай...

Ветер стих, не качается вереск,
Пахнет счастьем горячий чабрец,
И мыслительный длительный дребезг
Покидает твой ум, наконец.
Медных струн в отдалении близком,
Еле слышным над зеркалом вод,
Рокотанье и гул обелиском
Благодати в лазури плывет.

новые стихи

Как божьей коровкой – уловкой,
Слетевшей с медовой луны,
Тот трепет живой. И порой
Припомнишь калитку...
Но тут экалитты
И пляшущий бабочек рой.
Биг Сур тут: над морем утесы-колоссы,
Над морем летит самовар.

За морем тоскуют погосты...
Весеннего ситца березы...
Со свечки снимают нагар...
Когда это было? Но память забыла
Настурции огненный куст.
Очнулся – качнулся,
Костер вострепнулся,
Послышался огненный хруст.

В тишине где-то смеха раскат...
Запад тускл, а восток еще розов.
И доводят – слегка – до наркоза
Дребезжащие струны цикад.
Пахнет сумраком
Лес за поляной,
И поляна –
Парным молоком.

Словно трезвой прозрачностью
Пьяный,
Будто к цели
Бесцельно влеком.
Гул машин с отдаленной дороги.
Жемчугами висят облака.
Будто вижу себя на пороге,
Вечной сути касаюсь слегка.





ДОЛГОЛИКОВ

поэма

Из эпопеи «Герой интереснее романа»

8. ПЕРВЫЙ ГРОМ

В пригожее воскресное утро Долголиков, солдат-гражданин русского экспедиционного корпуса, первой мировой войны, во Франции, отойдя с километр от лагеря — залег на припеке, за кустами, подалее от дороги.

Это была плоская выбоина, с гранитным дном, отлого спускавшаяся в овраг.

По обе стороны возвышались живые изгороди крестьянских владений.

Место безлюдное.

Деревья еле успели позолотиться весенней листвой.

На Долголикове шинель в накидку, хотя в этом уже и не было надобности — она отмежевывала его от внешнего мира.

Он не был заурядным солдатом русского экспедиционного корпуса, потому что он — «парижанин».

В маршевом батальоне он держался настороже, защищаясь от подозрений начальства в неблагонадежности, все еще надеявшегося предохранить солдат от разложения.

Про себя же Долголиков был уверен в осуществлении в России социализма.

С закрытыми глазами, притихнув под лучами ласкового солнышка, подымаясь ввысь со звенящим колокольчиком — жаворонком, он как бы выступил из границ собственного тела.

Соловей переполнил его душу спазматическими слезами, претворившимися в освободительную тоску-грусть.

Средоточием вдохновения была старая, обрубленная ветла, обведенная сиянием листочков.

Долголикову уже начинало мерещиться, что из дерева вырастает фея.

«Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» — вдруг услышал он за собой, произнесенную заунывно-просительным голосом, фразу.

«Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» — раздалось еще ближе, а потом в третий раз, затихая.

Это творилась — «умная» молитва добротолубов.

Долголиков приподнялся и сквозь кусты разглядел солдата, только что, по-землячки и не без торжественности

распивавшего чай с сибиряком-библиотекарем.

Это был мелкорослый человек, с костлявым лицом, со светлой, жидкой бородачкой и, как сам Долголиков, одетый в шинель внакидку.

Был он афонский монах, больной чахоткой.

Забранный в солдаты при наезде в Россию, и то ли из-за разрухи и желанья начальства — заглядить перед ним свою вину, или по совершенной непригодности, как и никчемности, теперь он был освобожден от военной службы, и лишь поджидал бумаги, чтобы вернуться на Афон и посвятить остаток своего короткого века добротолубию.

Выбитый из пантеистического состояния, Долголиков начал просматривать только что взятую в библиотеке книгу.

Однако, скоро ему пришлось и еще раз оказаться свидетелем, но уже по иному, взволновавшей его сцене.

«А если хлеб станут отбирать — ни за что работать не буду!» — добавив ругань, интимно-задумчиво произнес поблизости голос.

Это прошли-пролетели, юношеской походкой три дружка-пермяка, обнявшись за плечи, — слова были сказаны ундером.

Сознательная жизнь Долголикова вдруг остановилась, как ход горного потока, рухнувшей в него скалой.

Он понял, что теперь хозяин положения в России — крестьянин и что жестоко ошибался, предполагая наступление на родине чаявшегося интеллигенцией утопического строя, и вместо молочных, там текут кровавые реки.

9. РУССКИЙ НАРЦИСС

Садовник сказал, что пора начинать поливку.

Долголиков сходит восемь ступеней, к водоему, становится на мостки и начинает наклоняться.

На перевернутом небе появляется далекий аэроплан его лица.

Он приближается.

Да, какие знакомые черты, но так мало разгаданные!

«Что такое — Я?» — спрашивает он себя, с раннего детства, стоя перед зеркалом.

Лицо — продолговатое, смуглое, с выступающим подбородком, карие глаза, густые брови, шатен, значится в документах.

”Курушиное Яйцо” прозвали его в детстве.

Когда его глаза еще не сидели так глубоко в орбитах, он считал себя похожим на Наполеона.

В черной ученической шинели с металлическими пуговицами, в фуражке с кантом и блестящим козырьком Долголиков простоял однажды добрую четверть часа перед зеркалом уборной вагона третьего класса, со спокойным и важным видом, с широко расставленными, для равновесия, попирающими ногами.

(Он видел снимок с картины ”Наполеон на Беллерофоне”, не поняв ее смысл.)

Будучи учеником, носил прическу с пробором по середине и, по привычке смотрясь в зеркало, проводя время с собой — ковыряясь в себе (сравнивая себя с великими), подрезая волосы, закрутил передние концы усами.

Что сделало его похожим на микельанджеловского Моисея (но там это — знак мудрости), а еще больше — на Мефистофеля, Люцифера (смесь упрямства с малодушием, жаждущий вопрос).

С такой прической он являлся в училище.

Несколько учеников из подававших надежды начали ему подражать. Многие из них покончили с собой.

Сейчас утро. Солнце золотит левую щеку Долголикова.

Нырнувши на дно водоема, видя себя, он вопрошает: ”Что такое — я? Кто — я?”

Наконец, погружает лейки в воду.

Зеркало разбилось. Небо — разорвано.

Долголиков погиб в хаосе, перестал существовать.

И вот восхождение, восемь ступеней, потом — тропинка.

Ноша приклеивает его к земле. Тело рвется улететь, но привязан дирижабль, руки — канаты.

Тяжело ступая, Долголиков вспомнил знакомого француза, хромого на обе ноги, болтавшегося при ходьбе, как корабль во время бури, с глазами, выпученными больше лягуциных, которого зовут — Нарциссом.

Отправляясь в город, Долголиков внимательно смотрит в зеркала магазинов.

Русская солдатская фуражка, ему к лицу и серая шинель (французы принимают его за немца).

Но не это влечет его к зеркалу, потому что каждый для себя непременно красив, а ”что такое — я?” — спрашивает он своего свидетеля.

...И зеркальце ему в ответ: ”Ты — колдун из ”Страшной Мести”!”

Лицо — шоколадное, восточного человека. Нос висит по-индюшину, выпяченный подбородок приостановил его паденье. (Как на портрете японского мима, покрывшего часть носа нижней челюстью, удобный способ сморкаться!). Спасибо подбородку, он растет так же быстро, как крысиные зубы, раздражающие ей рот. Надо искать способ остановить и его рост.

”Враг человечества” окрестили Дололикова в двенадцать лет.

Он знает, почему его лицо — обугленное, кофейное зерно: давно не был с женщиной.

Он любит наблюдать спрутов, умеющих быстро менять окраску, всегда напоминающих ему пушкинского Черномора.

”Да, что такое — я? И что нужно делать, чтобы стать лучше и смочь ответить на вопрос?” — спрашивает он себя, возвращаясь к водоему.

И вот Долголиков снова перед зеркальным кинематографическим аппаратом.

Но очередь не его.

Теперь снимается природа.

Склонившиеся ивы, похожие на оливки, купаются в водяном небе.

Проплывает водяная крыса.

Рачок, изгибаясь морским коньком, направляется в моховые сады Семирамиды.

Два мертвых листика, сцепившихся случайно, создав новое существо, двигаются перед пленкой.

Почему меня назвали — Врагом человечества?..

Нет, я им — еще не стал!

...Но это — проклятье моей жизни!

— Может быть, я им еще буду? — вопрошает Нарцисс в воду.

10. ПОД ТРИУМФАЛЬНЫМИ ВОРОТАМИ

Горячие полевые работы еще не начались, поэтому хозяин позволил уехать на праздники двоим из работавших у него русских солдат рабочей роты.

Василий Непромахов поехал в Ляваль, столицу русской шатии, и хозяин, конечно, — поминай как Ваську звали! — к ”старухе”, сорокалетней француженке, хозяйке кабака, грозившейся приехать.

”Прилипла — не отвяжешься!” — матерился он конфузливо, слушая, как Долголиков переводил ему письмо, а самому, не видевшему пять лет жену и детей, была приятна эта навязчивость.

Он чувствовал, что в России сейчас плохо, а в их местах, в Вятской губернии, и всегда-то было бедно, холодно, пьяно, не вызревает рожь, не видывали яблока. Устроиться бы здесь, а дальше видно будет — вернуться ли с деньжонками домой или выписать своих сюда.

”А что, старик, еще раз тут, во Франции, жениться можно?”

Долголиков отправился к себе, в Париж.

Он ехал не на праздник Дня Победы, а воспользоваться случаем, побыть несколько дней в городе, побродить по привычным улицам, окунуться в сутолоку, навестить Монпарнас, а самое главное — побыть, наконец, одному, у себя в мастерской.

...И все же отправился на Елисейские Поля.

Пурпур и золото лились широкой рекой, вероятно, с не меньшей пышностью, чем по Canal Grande, в Венеции.

Торжественные декорации, почему-то в египетском стиле, флаги союзников, ковры, щиты, гирлянды, неперменные эльзаски в толпе.

Тесно, как в коридоре театра, так как празднество — всегда тяжелое, театральное представление.

Раненые, с родственниками пришли на именины, раненые в лохмотьях — на демонстрацию, разбогатевшие — на банкет, министры — на Торжество Справедливости, туристы —

на посту, с кодаками, вдовы и сироты, жавшиеся к стенам, — на траурную годовщинную панихиду в буржуазной церкви св. Магдалины.

Наблюдая ход праздника Торжества Справедливости, Долголиков поминутно чувствовал скрытую месть, приказ вычеркнуть, забыть слово Россия. О, толпа такая вышколенная, все живут в таком трезвом сознании, холодно, реально, все сердца бьются заодно, и разве кто-нибудь позволит себе дать на мгновенье сверкнуть по его лицу огоньку, молнии, слову — Россия.

“Мы побеждены — французами, поддерживая их до полного истощения, потом — немцами, теперь всеми союзниками, вычеркнувшими нас из списка живых”, — думал он.

Просеменил французский кордебалет, неся ружья на выворот; проследовала группа скаковых лошадей — чопорных англичан; американцы, разминая мускулы, направлялись на спортивное состязание.

Если бы на месте Долголикова был кто угодно другой, чувствовавший себя точно так же, как и он: выскочил бы из толпы и пошел в параде последним, за самодовольно и благовоспитанно щерящимися японцами, за португальцами, наряженными под рассыльных; вот так, как есть, — расстригой, без погон и кокарды, без единого воинского значка.

Узнали бы! Подмывало, бурлило — напомнить о двенадцатимиллионных русских потерях! Чувствовал на себе обязанность сделать это!

..Но наш герой не был рожден для громких поступков, поэтому переборол себя и по-всегдашнему не предпринял ничего.

11. ДВЕ СЕКРЕТНЫХ ПИСЬМА

Письмо первое.

“Роты Развлечений”

Дорогой Долголиков, мне хочется передать Тебе разговор с товарищем Н-ой, которую Ты знавал до войны, вернувшейся на днях, из России.

В этом письме я расскажу о том, что интересует тебя больше всего: есть ли в России армия?

Несколько месяцев назад — не было. Теперь — одна из лучших.

Это не только “мясорубка”, но и оплот возрождения, школа новых людей.

Ее обновлению много способствовало создание так называемых “Рот Развлечений”.

Мысль была дана Х., в кружке своих друзей — артистов всех отраслей искусств.

Он напомнил, как солдаты охотно приходят слушать музыку, любят смотреть плясунов, с живым интересом слушают рассказчиков анекдотов, куплетистов, балалаечников, певцов, смотрят кинематограф и театральные представления.

Сообщил об американских музыкантах — паясничающих, приплясывающих и поющих во время игры и при передвижении, на поворотах — меняющихся местами, в строю.

Составили комитет.

Военные оркестры были пополнены музыкантами из распущенных симфонических, управление которыми поручили молодым композиторам, примкнувшим к партии.

Руководясь обстоятельствами, оркестры ободряют устав-

ший от длинного перехода отряд, поддерживают или увеличивают мужество в бою, вызывают революционный подъем, сопровождают пение гигантского, воодушевленного хора, веселят во время отдыха.

Способы развлекать солдат в походе непредвиденно расширились после создания “Рот Развлечений”.

Рота идет впереди, при надобности — в середине, сбоку, сзади отряда, над головами его раскидывается легкий помост, и вот балетные артисты, одетые в переливающие металлом костюмы, танцуют работу фабрики, динамомашин и т.д., или в национальных костюмах исполняют народные танцы или сцены из своей солдатской жизни.

Потом чередуются эквилибристы, фокусники, борцы; вслед за ними веселая сценка с крепкими словечками, или проповедь братства и любви при помощи усовершенствованного кинематографа, разбрасывающего по небу гигантские ослепительные фигуры.

Потом — о революции, о ее целях, о возможных опасностях, или изложение политической экономии, истории, естественных наук.

Предупреждая мой вопрос — как же может видеть и слышать все это такое большое количество народа при передвижении и грохоте, — товарищ Н. рассказала о легких, удобнопереносимых аппаратах — стусителях-очистителях света, о разбрасывателях-насытителях звуков, позволяющих видеть и слышать, как бы на расстоянии нескольких шагов, предметы и звуки, идущие за два-три километра. Она сама слышала таким образом речи вождей революции.

Химики-кинографисты умеют совершенно переделать местность — замаскировать, например, равнину, загромоздить ее горами, полученными, доставленными по беспроволочному телевизору, находящимися за тысячу километров, или, солнечный день окутать ночным мраком.

Скрывая таким образом свое местонахождение, видеть через большое расстояние и сквозь оптическое нагромождение — что делается у противника.

Инженеры-музыканты, при помощи небольших аппаратов, похожих одновременно и на граммофон, и на беспроволочный телеграф, ловят звуки, издаваемые за десятки километров, пожирая гул собственной канонады, совершенно не доходящей до противника.

Отвлекают, путают его внимание звуками искусственной бомбардировки, идущими с тыла или выходящими из его рядов.

Товарищ Н. видела также — взводы Саперов-Атлетов, числящихся при Ротах Развлечений.

Они, играя, как дельфины, гимнастически воздвигают: американский небоскреб, готический собор, минарет, Эйфелеву башню, — становясь мушками, пешками на шахматной доске неба.

Этими фигурами, вырастающими с быстротой электрической иллюминации, пользуются для наблюдений или как лестницей, чтобы, например, находясь у подножья скалы, подняться на ее вершину.

Они же служат началом постройки моста.

Гимнасты-саперы, строясь один на другого, сообразно с шириной реки, на одном ее берегу сгибаются, спускаются верхушкой на противоположном, быстро скрепляют вокруг себя раздвижные металлические трубки и первые перебегают мост.

Для воздухоплавания, соединяя несколько палаток,

гимнасты, благодаря движениям рук и ног, открытым авиатором-пловцом, ныряют в воздух, на значительную высоту, где, благодаря открытию законов неподвижного стоянья коршуна в воздухе, могут держаться, не употребляя усилия. А опускаются свободнее, чем ныряющий в воду.

Можешь себе представить, дорогой Долголиков, какие преимущества дают все эти средства, иногда по-детски наивные, созданные вымыслом художников, вытекшие из желанья скрасить жизнь солдата?!

И, собственно, не точнее ли было бы назвать Роты Развлечений ротами — Первой Необходимости, например?

Но нет, хитрые вожди предпочитают оставить первоначальную, безобидную кличку, которая, к тому же, нравится и самим солдатам.

Будь уверен, дорогой Долголиков, что я постарался точно изложить переданные мне товарищем Н-ой занятные сообщения.

Дружески твой, О.

Письмо второе.

КОНФЕКТЫ "КАМУФЛЯЖ"

"...Меня очень интересуют сбивчивые сообщения главнокомандующего о неожиданных исчезновениях... появлениях, перемещениях... грохотах и умолчаниях противника!

...Это, несомненно, какой-то новый, усовершенствованный... почти магический камуфляж!.. Одной декоративной живописи для этого слишком мало!.. Здесь должно быть и от химии и физики, кинематографа, и, вероятно, — беспроволочного телеграфа, может быть, что-нибудь похожее на — музыку, шумы... теперь начинают говорить о — радио!

Ха, ха, ха! Так, чего доброго, дойдешь и до косметики, парфюмерии, института красоты!

...Нет, шутки в сторону!.. Дело принимает слишком трагический оборот!

...И доклад о том, что между пленных, которых отчаянно мало!.. хотя это, конечно, вызвано тактическими соображениями, нам приходится сокращать фронт... Да-с, так между пленных почти нет раненых артиллерийским огнем, однако, наши пушки совершеннее ихних! ...а лишь винтовочной, даже не с пулеметной, пулей, значит, так сказать случайной, неожиданной, выпущенной врасплох, и, значит-с, если противник ждет нас, то миллионы наших пуль — миллионы глупостей, а тысячи снарядов — тысячи ошибок! Наши смертоносные орудия, менее страшны ему, чем горох, отскакивающий от стены!.. Очевидно, они даже и не долетают до цели!.. У неприятеля есть средство — остановить, обезвредить их на лету!

Да, они перегорают! Потому что в докладе говорится об огненных веночках, появляющихся на мгновение, вокруг выпускаемых снарядов, а пули вспыхивают, как искры, и гаснут... они обезврежены!..

Уничтожены, да-с, так точно-с!

...И кто знает, может быть, этот аппарат, тушитель

наших снарядов и пуль, какая-нибудь блестящая точка на мушке ружья или на звезде каски, потому что такой тушитель есть всегда, при каждом неприятельском солдате!

...Газы дают, должно быть, еще меньший результат, так как между убитыми и пленными нет отравленных, а мы еще не видели ни одной их маски!

...У противника должны иметься инструменты, может быть, просто усовершенствованный... барометр! Черт их возьми... предвещающий газовую погоду и процеживающий в то же время воздух.

...Да-с, и одна из их патронных сумок включает несколько разноцветных пластинок — матовых, амальгамических, блестящих, как зеркало, и очень твердых, и эластичных, и совсем мягких... съедобных? Ничего не известно! Они не поддаются научному анализу наших... европейских ученых, а там, должно быть, работают слишком дальние для нас — азиатские, тибетские!.. индусские! антиподы наших... те, что — влезают на небо по брошенной веревке, разрубая человека на куски и оживляют его — sprыснув живой водой... как в сказке!.. Но... что у нас сказка, там — быть! А "отвод глаз" — это уже их народный обычай!

...Да, вот и восстанавливается родство, увы!.. И этот "отвод глаз", вероятно, привез — какой-нибудь Садко, из Монголии, Индии, а самого такого колдуна-турку возили на показ, царю: едут два крестьянина навстречу, у одного большая колымага сена, потеснились, чтобы объехать лужу, зацепились колесами, начали сориться — и вот ехавший порожняком кричит: "А ты оглянись на воз-то!" Тот поворачивает голову и видит сено в пламени, взбирается на лошадь, обрубает оглобли и скачет.

Подъехавший к этому времени третий, понявший в чем дело, разуверяет его... тогда пострадавший и сам убеждается, что сено цело.

Или... один приказывает другому ...пролезть сквозь рево.

Присутствующие видят, насколько это ему трудно, и слышат треск дерева... Случайно подошедший после говорит, что им "отвели глаза", и мгновенно наваждение проходит...

...Hier ist der Hund begraben! Вот где зарыта собака!

...Но кто может быть у нас этим посторонним, незаинтересованным лицом?.. Что можно поделать с этим "отводом глаз", бактерией?.. упрощенной, может быть, до приема, слабого, до лизанья, сосанья конфекты!.. и как уничтожить этот отвод глаз, заключенный в миллионы производимых неприятелем лепешек?

Нужно... нужно обратиться к химикам другого рода, к оккультистам, спиритам, йогам, ориенталистам!

...И как раз сегодняшней рапорт о таинственном умерщвлении авиатора, известного медиума, благодаря которому нам удалось задержать противника и даже — нанести ему удар!.. С момента подъема до спуска это была — двадцатисемичасовая борьба двух гипнотических сил, но бедняге невозможно было поесть одному миллион заколдованных леденцов!

...И отравлен он был, должно быть, тем самым ящиком сластей, посланным дамой-почтительницей — имя которой, конечно, оказалось вымышленным!.. эхе-хе-с!.. внесенным в комнату за несколько часов до его возвращения... По словам денщика, ящик был теплый.

...Как жалко, что благодарный и слишком деликатный

генерал — вот идиот с размягшими мозгами! — позволил сделать доклад после отдыха!.. Нужно было, пока он шел к постели, стенографировать его наблюдения. О, безусловно, он дал бы возможность узнать вкус колдовских сладостей!

Тогда наши дивизии не оказывались бы вдруг — продвинувшись в указанном направлении — находящимися в лагере пленных... да, точно исполняя приказания, со всеми штабами, в полном боевом порядке, как рассказал бежавший из плена капитан граф де Л'Ос Блян.

...Гм, странно устроен мой кабинет!.. В нем иногда становится так душно!.. и сейчас как никогда!.. я будто плаваю в бульоне... и то, о чем я думаю, видно так отчетливо, как в кинематографе, а может быть, вижу и не я один?

...Поручик Артелин, отдайте распоряжение — явиться немедленно всем ученым ориенталистам и председателям оккультных и спиритических обществ!

...Как, я один в кабинете?.. и на его столе странная фигура: какой-то глаз или ухо... из этих самых проклятых конфект!.. Они переливают радугой... красное!.. Звезда!!! Ааахх!"

Не берусь Тебе представить мое изумление, дорогой Долголиков, во время просмотра этого звукового фильма, снятого в самом сердце неприятельской страны, то есть через огромное пространство, видеть который устаиваются лишь самые благонадежные люди!

Излишне добавлять, что угостила им меня — та же самая товарищ Н.!

Дружески Твой, О.

12. ЛЕСТНИЦА

"Идите здесь", — провела Долголикова к парадной двери. — Я бы вышел через кухню, а то консьержка даже и вам может скандал устроить.

"Ничего, ничего!"

Обогнали двое русских, и Долголиков услышал: "Вот один из таких ходил торговать да и пристроился к даме... Это он, вероятно, и есть!"

Долголикову на мгновение стало грустно... Другой, выпустив из рук ношу, — побежал бы драться... Нужно-то бы ведь так!

...Часто лучшие русские красавицы, иногда — титулованные... случалось, холодностью — воздерживаться, а не нападать.

К примеру, откуда только что вышел:

взбирался по крутым ступеням. Звонил, «bonjour, mes-dames!» сказал он поварихе и горничной. "Будьте любезны спросить мадам Ядрену — не желает ли она посмотреть русские книги".

Горничная быстро вернулась. "Пройдите, мадам сейчас выйдет", — предложила сесть.

Явилась несоро. Кончала туалет.

Ждал, развязал свертки, разложил книги.

"Что же ты, Сашенька, ведь человек-то ждет!"

— Не человек, мама, а господин!

Вышла с кокетливыми извинениями. Подала руку... которую он не поцеловал.

Выступила из берегов павловской эпохи: шелковое, фиолетовое платье в лентах.

"Вас так давно не было, появилось столько интересных книг, я вас ждала — хотела написать!"

...Сам виноват: обычно почти надменно-сухой, придя в первый раз, сбитый с толка сияющей веселостью, показывая в журнале репродукции Сомова, сказал, что, вероятно, бывала вдохновительницей.

"Здрав-ствуй-те!" — сухо ответил ему прошлый раз на поклон пожилой муж.

13. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФИЛЬМ ЧАПЛИНА

Чарли поднялся со своей группой на Эйфелеву башню.

Он превзошел самого себя, изображая американца, рассматривающего Париж, влюбляющегося в телеграфистку и продавщицу сувениров, в гуляющих внизу и проезжающих в автомобилях женщины, отправляя им телеграммы, объясняясь в любви через подзорную трубу.

Желая наклонить башню, чтобы дотянуться, поцеловать красавицу, проходившую на другом берегу Сены, он падает, вьется между переплетов, цепляется за перекладину и, как обезьяна, взбирается снова, на самый верх.

От радости, что не разбился, хватается, целует всех, пляшет, вертится, становится вверх ногами, начинает бегать вокруг площадки.

Режиссер и операторы, давно потерявшие нить темы, с восторгом "накручивали" все происходящее, но начинали беспокоиться, встревоженные необычным возбуждением Чаплина.

Один из операторов, психиатр, наблюдавший его несколько лет, заявил, что не помнит такого творческого подъема, что это может кончиться плохо.

"Шарло" крутился все быстрее, становясь — танцором, выражающим радость, спортсменом, состязающимся в скорости, даже больше — превращаясь в инженера, изобретателя, в машину, в спирита, заставляющего двигаться стол.

Он кружился быстрее и быстрее, накрываясь все больше, как велосипедист, едущий по кругу, вися параллельно полу.

...И, остолбеневшие от ужаса, вторые и третьи любовники почувствовали, что башня дрогнула, двинулась.

Колотя и топчя друг друга, они бросились к подъемной машине, но опередивший их предупредительный Чарли, играя кабиной, как брелоком часов, со свойственной ему ловкостью пигмея-силача отбодался от наседавшей на него, начавшей сходить с ума труппы, работая ногами и руками и становясь в позу оскалившегося, рычащего бульдога.

Телеграфистка имела присутствие духа беспорядочно оповестить вселенную о гибели Парижа от землетрясения.

Башня, гудя и запеая, как чудовищный волчок, накрываясь, медленно описывала круг.

Труппа итальянских киноактеров фирмы La Bella, прибывшая позднее Чаплина, разыгрывавшая мелодраму и подножья башни до начала ее странного поведения, разбежалась в смертельном ужасе.

Лишь оператор хладнокровно "намотал" и бегство своих товарищей, и происходящее вокруг, спасая этим отечественную киноиндустрию от краха. Он в почете и славе доживает свои дни у подножья собственной статуи.

Чарли с ловкостью китайца, который ест рис, мило вихляясь и ходя на руках, побросал ногами в подъемную машину лежавших без чувств своих актеров.

Операторы же, один – бывший матрос, другой – психиатр, привязавшись к перилам площадки, с обычным хладнокровием "прокрутили" весь кавардак и без его любезной помощи последовали за ним.

Но конкурентам в кабине было слишком тесно. Они выстрелили одновременно, и оба упали мертвыми.

Лифт начал опускаться.

"Теперь заключенье!" – кричал Чаплин.

Прыгая, как Квазимодо, по трупам, то целуя их, то подставляя свой зад, срывая с голов шляпы, жонглируя, разбирая их как ракеты, гримасничая перед неперестававшими работать киноаппаратами, посылая приближающемуся Парижу воздушные поцелуи, он направил жерло пушки, по которому катился, на Монпарнасский вокзал.

Продольно рассекая встречные поезда, кабина-ядро неслась к Бресту.

Достигнув океана и охладившись, она превратилась в яхту... доставившую Чарли к обеду в земной рай – Нью-Йорк.

14. СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО КОРОЛЕВСТВА

1. Несостоявшееся подношение

После нескольких недель спешной работы наконец был объявлен день открытия нового зала Ротонды.

Долголиков, состоя в свите ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА, полонившей его женщины, избравшей кофейню местом своего пребывания, захваченный общим порывом подготовительной горячки, по мере приближения срока "ударился по своей части": создал проект приношения храму, в недрах которого покоилась нерукотворная статуя его Мадонны, в прахе перед которой он так охотно и самозабвенно лежал: составил "Смету на возведение одного королевства".

Он возгорелся неудержимым порывом – прославить, благословить и направить деятельность кабатчика, ему захотелось разразиться фантазмагорическим восхваленьем, в день открытия новой залы, или предложить хозяину кофейни напечатать его, к началу торжества.

Но время протекало, и Долголиков, никогда не выходивший за пределы расходов на одну чашку кофе, в вечер, поэтому, не считая себя почетным завсегдаем, предстать пред бойкие очи дельца не решился... и так и не произнес свою оду, чем, может быть, косвенно и содействовал захирению прославленного заведения, посрамленного, несправившегося с более удачливыми полководцами с противоположного тротуара, не внедрив в него огонь своего энтузиазма, своих смелых, исчерпывающих, размашистых – на российский лад – планов, без сомнения, давших бы ему гегемонию, может быть и в мировом размере, в питейной отрасли промышленности... и, как и все благие порывы, нижеизлагаемая смета увязла, погибла во внутреннем болоте этого внука российского Дон-Кихота, Обломова, из забитости, кажется, и совсем не присутствовавшего на торжестве "освящения" зала.

II. Смета

Гражданин такой-то, энергичный владелец Ротонды, удостоите рассмотренья прилагаемую Вашему вниманию смету.

Ваша добрая воля, будущий единодушный избранник, Ваше будущее, Величество Ротонды – прочитайте, продумайте и примите ее.

Скупить всю трехгранную скалу домов: Монпарнасского бульвара, улицы Вавэн и бульвара Распай.

Возвести ее и "углубить" в сотни раз.

Создать совет, тщательно составленный из представителей великого народа ротондовцев, Ваших верных подданных, этих бродяг, застрявших здесь, прикрепленных к Вашим владеньям до конца своих дней, этих живописных, романтических нищих, этот мусор, навоз, мировую гниль, самое лучшее удобренье, для редчайших орхидей, оранжерей двадцатого века.

Мое благое пожелание, чтобы Ваше королевство... так же, как и наше, было не башней из слоновой кости, а стеклянной, со скелетом из серебряного бамбука.

Позвонки хребта, башни-королевства, патронташи подъемных машин, из которых один, очень медленный – для пожилых лэди, и футуристические и конструктивистические лестницы – для любителей акробатики.

Горизонтальный позвоночник (хвост) – подземные, катящиеся ковры, различных скоростей, между станциями метрополитена – Вавэн и Нотр Дам дэ Шан, и подъемными машинами.

Первый этаж вглубь: автомобильный гараж, с починочной мастерской и буксированием попорченных машин, независимый, приспособленный лифт.

Резервуары для плавания, бани, ванны и души, гимнастические залы, парикмахерские, институт красоты и прочее, – прачешная, поргняжная, сапожная и чистильщики башмаков, дантисты, госпиталь.

Поварская, винный погреб, мясная лавка и прочее (магазин Ж.Дамуа, находящийся на противоположном углу, поглощенный землей).

Дворец "ОО": туалетные залы, уринуары и кабинеты, сиденья шезлонги, чтобы удобнее дремать, с кубистическими и орфическими калейдоскопами, под аккомпанемент музыки, и распылители одеколона, у выходов... А под ними – "Царство торжествующей Виши" – траншеи тысяча девятьсот четырнадцатого–восемнадцатого годов.

Еще ниже – Кабререт, музей доисторической живописи.

Вниз за ними – столица жителей Луны, по Г.Д.Уэллсу, ...трудность будет заключаться в ее заселении и в отыскании-создании этой высочайшей точки пирамиды, идеального ключа, короны иерархической горы, Всемогущего Полицейского-Божества, деспотического и добровольного царства-муравейника. Охраняться оно будет озером величиной с департамент Сены и Уазы. (Разрешение тяготеющего над Парижем вопроса о наводнениях.)

Оно явится вместилищем всех видов водных sports: гидроскользители, гидравионы, подводные лодки, водолазный спорт; Довилль, Ницца, Биарриц – состязание на воде: гребля, парусные гонки, ватер-поло; поездки на остров Цитеры, открытие Америки – проплытие на скорость, из конца в конец, – Парижа; переплытие Ламанша, Европа–Америка;

– вплавь, нырянье вокруг света.

И, конечно, – КУБОК РОТОНДЫ!

Создание и выработка его условий – уже дело специалистов!

Ближе к поверхности – “русские горы”, и все the Whip’s, les excentrés, the voluptu’s, les aciettes и так далее, вокруг клумбы ярмарочных развлечений, – с ходом, ведущим в страну помешанных, считающих себя искателями золота и открывателями неизвестных стран, охотниками на хищных зверей.

Продажа и прокат одежды, инструментов, оружия, снаряженья, мулов, собак. Предметов примитивного искусства и охотничьих воспоминаний. Гостиница “Здравствуй–Прощай”. Бандиты и опасные люди (получающие ежедневные инструкции), индейские и негритянские племена, и азиатские наездники... и все же, непременно, чтобы не доводить их до отчаянья, – искусственно созданные: золотиносные россыпи. (...Однако – внимание и внимание!.. чтобы преступный элемент не просочился в слой многоуважаемых англо-саксонских посетителей!).

Само собой подразумеваемое предназначенье нижеследующего этажа: Чистилище, Эреб, Ад, Тартар для многочисленных Данте, – сдача напрокат костюмов и масок, и Виргилиев... и как знать, может быть – нежданно-негаданно для самого себя, – кто-нибудь и выйдет на тропу, которая приведет в царство Вельзевула!

...А это уже действительно – цель, могущая породить – исследовательскую горячку!

Пользуясь этим непредвиденным обстоятельством, можн стричь публику и здесь, продавая с молотка – очередь на спуск, в погоне за отысканьем сообщения с Адом.

...После этого моя фантазия истощается, исчерпывается, Ваше Величество!

Умоляю дать ей передохнуть или искать продолжателя.

Позвольте подняться на поверхность к преддверию Вашего будущего королевства!

Не откажитесь пожаловать мне так добросовестно заработанную “чашку кофе с молоком”!.. Потому что, как и полагается настоящему богеме – я голоден!

Подкрепившись и снова берясь за лиру, если милостиво разрешите, я воспую “Бельвю” и “Буэнос Айрес” Вашего королевства, предстоящего быть построенным.

Раскачиванье подъемных машин, их танцы, подобные биенью пульса, подскакиванья, кувырки.

Их затеи, жизнь, менее устойчивая, чем температура градусника, упиваясь, вздыхая во время перемещений по вертикальному королевству, его звуки, шумы, запахи и многочисленные виды местности.

Как я уже докладывал, основа королевского казначейства – это два первых этажа, сутолока, “перекусочная”... конечно, говоря лишь относительно, так как, в конце концов, “чашка кофе с молоком”, или “бокал светлого”, будет лишь “заработком на хлеб”, подстилкой, первым слоем Вашей кассы.

Все, все, начиная от таинственных глубин преисподней Вашего владенья, за исключением царства Вельзевула, до невообразимых высот седьмого неба Данте, девятого круга теософов, все будет: гудящий и трудолюбивый пчельник радетелей, по наполнению сот, готического собора – казначейства.

Третий этаж – Банк Королевства Ротонды.

Это совсем не высоко, но в то же время и не тротуар, уже вне посягательства экспроприаторов.

Тронный зал – дело сугубого вниманья ответственных лиц: создать его защиту, неприкосновенность, бесперебойность его пищеваренья, украшенья... Однако, можно сказать уже и теперь, что – все будет в американском вкусе... ну, да это будет ни что иное как меняльная лавка, exchange office, так же, как и – синтез всех Куков и American Express!

Вы постараетесь, энергический будущий король, господин король, чтобы это был современный иерусалимский храм, куда каждый, все человечество – войдет с полным доверием и совершенно свободно, чтобы все приобрели каждодневную привычку – приходить на прогулку, даже несколько раз, продавать и покупать, узнавать и предлагать сделки... нужно ли подталкивать Вашу фантазию, чтобы предсказать третьему этажу будущность Мировой Центральной Биржи?... Значит, несколько следующих этажей под бюро, кабины телевизоров, станцию геликоптеров, беспроволочного телеграфа.

Конечно, Вы будете чеканить свою монету, как каждый уважающий себя монарх, которая единственно и будет иметь право обращения, – нарушитель же будет подвергаться изгнанию на вечные времена.

И тогда вся вселенная придет – поклониться Вам, создателю единственного в своем роде королевства в мире, бог-хозяин Искусственного Рая, санаториума сильных и слабых, мятущихся и встревоженных, хитрецов, плутов, весельчаков, сумасшедших и пропащих!

Вы, сухонький человечек, преобразившийся в Золотого Паука, в высокаторжественной, небрежной позе бога Злата будете выставлены в невзламываемом, несгораемом, прозрачном шкафе, пламенной часовне, возженной в честь удачи и победоносной горячки!

Пусть музыка не прерывается ни на одну минуту, пусть звучат “задушевные”, торжественные и тяжеловесные гимны Золоту.

Вы будете иметь – подземные и воздушные коридоры, тайники и западни, и условный язык.

Дальше, выше – десятки этажей трепыхающихся бабочек, потому что Вы, раньше всего и больше всего – хозяин кабаре: средоточие и градации всех танцев, ритмов и звуков вселенной: мяуканий, шушуканий и громов, – звуков дыма, опиума, часового механизма, змеиногo плавания, золотого дождя и голубой пудры, вкуса коктейля, виски, джина и шампанского, детородной силы.

Переплетенья, вялость и углы – черных и серых платьев, отражающих металлические формы, идеальных Венер!

Непреодолимый смех сахарнозубых чернокожих, сопровождаемый барабаном, треск кокосовых орехов и глухие вздохи земли, под дождем палочных ударов обезьян-людей. Танец живота, с его движениями, идущими от отвращенья, граничащего со рвотой, к мечтательному и молниеносному сладострастию – до экстатического, усыпляющего и удушающего опьянения. Радужное сиянье, подымающейся страсти гурий, указывающих дорогу в рай.

Сомнамбулическая потягота ласкающего дыханья, позолоченных вселенных – Персии, Тысяча и одной ночи, низведенных на землю, и музыка теплых волн, благоуханного сна – наргиле.

Кавказская лезгинка, под назойливые звуки зурны, – паруса, превращенные в крылья рукавов национального

костюма, кинжал, привязанный к шнуру, будучи брошенным, попадает в цель, находящуюся в нескольких сотнях шагов, создавая человека-острие, умеющего вращаться быстрее веретена.

Балалайка, разрывающая существующее — бешенством молнии, паутиной своих однообразных звуков, и саратовская гармония, с набором троичных колокольчиков и свистков, уничтожающая своим храпом сокрушающего темперамента всякую волю и единоличную силу, тревожа, разрушая гигантский и смертоносный покой степи красным скрежетом.

Губная гармошка Центральной Европы, заставляющая распускаться бумажные цветы и фруктовые деревья, растущие по краям дорог.

Польша, не сумевшая выбраться из жеманной жизни восемнадцатого века, прерываемая смешанными с *vivat!* резкими криками и топотом бандитов венгерских пушт и хрюканьем кабаньих стад пинских болот.

Благородные, величественные, элегантные и элегические, легкие, тонкие и веселые танцы: фарандола и тарантелла, сардана и фанданго.

Мандолины, домры, гитары, кастаньеты, виоли, волюки, кобзы, оккарино, свирели и жалейки.

Пляски, на коленях, монгольских народностей.

Предельно экспрессивные, страшные или прелестные гримасы японских масок и сновидческие воплощения африканских, пантеистических видений.

Также и дикарей-воинов — их уроки анатомии, упражнения в скальпировании, кастрации, сдиранья кожи и людоедской кухни.

Любезная турецкая и персидская манера приглашения — сесть на кол.

Танец австралийцев-аборигенов, подобный трепыханью крыльев бабочки, на трупе пожираемого ими кита.

Брачный танец орангутанга с англичанкой.

Танец лапландских колдунов, эскимосов и якутов, комфортабельно спящих, завернувшись в гагачьи одеяла снежной белизны, при обычной температуре в пятьдесят градусов ниже нуля.

Не хочу обойти и казачка, при пляске которого, войдя в исступленье и пьяный шик, превратив свои львиные мускулы в орлиные, плясунам удастся отделить от земли раскаленную глыбу своего тела.

...Ваше Величество, хозяин, эрцгерцог Всемирного Храма Дебоша, у Вас не будет затруднений в получении сведений на любую экзотическую, или какую бы то ни было, тему.

Конечно, — все балеты, мюзик-холлы и кабаре.

Лучшие торомахические цветы Иберии и Мексики (зачеркнуть получением президентского благословенья) со всей их кровавой торжественностью очень желательны.

И для обеспечения благосостояния и процветания королевства: пулеметные гнезда — кино, один позвоночный хребет этажей, в непрерывном мелькании, ускоренном и замедленном, на утеху и фантазию публики-богемы.

В одном месте — тонкие, горькие травки и морализирующие кушанья "Шарло" Чаплина.

"Ковбой, самый элегантный человек Нью-Йорка".

Или молодой self-лорд, напичканный Марлиттом, шагающий, как громовеержец, через всю землю. Беспредельно сентиментальный и садистически-безжалостный, повсюду и вечно проигрывающий, потому что его корабль плывет выше уровня воды действительности.

Грозный корсар, беспробудно пьяный капитан "Летучего Голландца", проводящий время в обществе духов.

Или младенцы, с личиками, похожими на свиной зад, ставшие знаменитыми благодаря английским акварелистам, указывающие своим кулачком на — ипсомские скачки, регбистов и оксфордские восьмерки.

Фильмы "Нордиск", разыгрывающие: Стриндберга, Ибсена, Ведикинда, Гамсуна, Чехова, Достоевского, Андреева и видения Иеронимуса Босха.

Итальянские сверхпродукции, на фоне Везувия и Венеции, со сверхкрасавицами, подобранными на навозной куче, и с апашами, одетыми под маркизов.

Фильмы — "Ниппон" и "Фузияма" (красное солнце, попавшее в тенета), разрабатывающие крохотные чудеса, во вкусе Хокусаи и Утамаро.

Французские постановки, в голубую землю которой вставлен подсолнечник Вашего королевства.

Фильмы трехцветной кокарды, благородная бравада Трех Мушкетеров, и по петушину верткого, худошавого «Poilu».

И, наконец, Ваше национальное производство — "Ротонда".

(Значит — город этажей, господ архитекторы!)

Фильмы эти будут, конечно, сверхпоэтическим отображением жизни Вашего государства!

Площадь громоздящейся вверх страны будет вполне достаточна, чтобы не платить таможи, не выходить за границу; режиссерам понадобится только хорошо знать географию страны и просить, по мере надобности: не двигаться, или продолжать веселье, не обращая внимания на тот или другой угол зала, дворца и этажа, или наконец — посторониться на минуту, очистить немного места фотогеничным звездам.

...Здесь — внимание и внимание, Ваше Величество, добрый наш король! Дело идет о ДА или НЕТ существования или, по крайней мере, процветанья Вашего дела, я Вас считаю талантливым купцом, и Вы не отрицаете, что враг, находящийся через дорогу, не дремлет... хотя и не пойдет слишком далеко, значит — нужно уничтожить его, победить окончательно! Поэтому советую дать полную свободу действия сведущим людям, касательно толщины слоя, в высоту, количества этажей, отведенных — для жилищ художников.

Не забывают, что Вы будете с лихвой вознаграждены, уменьшив или, тем более, прекратив голод, нехватку мастеров.

Серия тысяча и одного абонемент Ротонды будет зависеть от этого: количество прошений о принятии подданства.

Ваш тайный замысел — "выход воспрещается", двери цитадели королевства отворяются — только внутрь (крысоловка), это шелчу Вам я, Долголиков, Ваш Макиавелли.

...Нет, не прогневайтесь, Ваше Величество, осуществление проектов, которые, как Вы сию минуту убедитесь, перечислены не все, требует, чтобы наше дорогое отечество, собственной своей персоной, было вынуждено сделать усилие, и само, первое — пойти против секретного закона нарушить собственные границы, сделав победоносный шаг на правую сторону улицы Вавэн, и раздаться своим величественным корпусом — до церкви, которая послужит отправной точкой пчельника: церковей, храмов, пагод, мечетей, с соответствующим духовенством, ибо не есть ли церковь — разновидность

лирического театра?.. и существует ли человек от искусства, который — не был бы религиозен?

...Какой исчерпывающий универсализм! Какой порыв!

Не окажется ли Ваше королевство Вавилонской башней новых времен?.. Надеюсь, что ее судьба будет более счастлива!

Конечно, свободное процветание всех ересей (то есть самые отвратительные, отталкивающие и опасные пороки)... и, позвольте обратить Ваше внимание (ах, как бы я хотел быть Вашим Макиавелли!), что, это тоже, будут места полного сбора: опиум, черная месса, банкеты Коридона, испанские процессии, дервишизм, шахсей-вахсей, аутодафе, сад пыток, Жиль де Ретц, самосожжения русских сектантов, хлыстовские раденья, смаживающие на негритянский культ, — Воду, Нерон, религиозные войны, Иван Грозный, Петр Великий, Эскуриал, завоевание Америки, завоевание России ханом Чингизом, викинги, гунны, — завоевание на английский лад, все завоевания и рабства.

(Может быть, началу создания Вашего королевства надо предпослать обнародование этого манифеста на все четыре стороны света.)

Напоминая Вам наипервейший принцип Вашего секретного кодекса — "мой идеал, это выход воспрещается!" считаю себе вынужденным уступить место Макиавелли в Юбке, потому что только ее доммыслы, хитрости и чародейства, предоставленные в распоряжение себе подобных, смогут при удаче удовлетворить (а это — не легко!) их деятельность, жизнь (удовольствия), интересы (интриги) внутри границ.

Желаю Вам удачи!

Для этого надо отвести часть королевства исключительно Идеалу Красоты, куда "мужчинам без сопровождения вход воспрещается!"

Полное оборудование "лунной ночи", залитые солнцем пляжи для подробных вычислений в области испытаний, которым нужно подвергнуть притязателей-охотников.

Декорации под Ламартина, Бернардэн де Сан Пьера, Шопена.

Прогулки с западнями: капканы, волчьи ямы, дрессированные и преданные гипнотизеры и медиумы, лжесвидетели и так далее.

Широко организуйте поощрительные конкурсы, по вопросам: где искать, как выбирать, как соблазнить, как вести, как закончить, как выбраться, иметь дело втроем, и так далее; двадцать шесть лет в течение ста лет — искусство зачатия, искусство не быть оплодотворенной, родить мальчика или девочку; чтобы ребенок отца цветной расы оказался арийцем; уметь менять внешность и характер, превращаться в сухощавую, рядом с таковым же, сангвиническую или мечтательную — в один и тот же день.

...Какое поле действия, какие громадные интересы и, несомненно, какой гешефт, господин король!

Не отрицаю, что заставить себя ограничиться вышеизложенным не стоило труда затевать попытку завоевания трона, но Вам придется искать советника более решительного, поэтому поступите по-королевски — выведите меня в расход!

А перед этим мне только остается высказать несколько соображений касательно административной части королевства.

Умножить количество переводчиков-земляков, танцующих, пьющих, едящих, играющих, тратящихся (они состоят на жалованьи, питаются от казенного стола, имеют даровую квартиру и пользуются всеми абонеменами).

Не отвращать слишком самодовольных глазок от Вашего преданного и совершенно необходимого народа ввиду его многочисленности и живописности.

Создать еще одну специальность Ротонды — вегетарианский ресторан: начиная от супа из салангановых гнезд и редчайших корешков с отдаленных островов (или соуса из Пояса Венеры) до тарелки пустых шей и вареного картофеля, отпущаемых предьявителю талона, — "чашка кофе с молоком", благодаря чему не будет ни нищих, ни повесившихся от голода в Вашем "пуританском" раю.

Немедленное фотографирование всякого человека в момент его вступления в пределы Вашего королевства.

Ежедневный иллюстрированный бюллетень (утренний и вечерний выпуск) — "День Вавилонской башни", с портретами и интервью знаменитостей, проводших на Вашей земле хотя бы несколько мгновений.

Зал с их фильмованными портретами.

Идеально поставленное собиране автографов в "Золотую книгу королевства".

Аллея статуй Ваших знаменитых подданных.

Продажа предметов культа Ротонды.

Выбор mademoiselle X королевой Ротонды. Я, Ваш Макиавелли, настаиваю на ее короновании и канонизации "Королевой королев Ротонды".

А на прощанье, раньше чем унести свои ноги, я, шут Вашего Величества, сознаюсь, что короновал Вас, а не сделал президентом, не без рассчитанной хитрости, чтобы те, кому это нужно, могли держать Вас в руках, иметь возможность орудовать, без Вашего верховного благословенья, прятаться под Вашу же мантию, прикрываться, выставляя Вас вперед, покладистый порфиросец, благонамеренный, уравновешенный... Разве есть кто-нибудь порядочнее и безупречнее процентщика!

15. РЕЧЬ С ГАЛЕРКИ

"Братья по галлерее, отщепенцы, — мое слово к вам! И единомышленнический привет!

...Несмотря ни на что, я взбешен, возмущен!.. Что и принудило меня вскочить дьяволом в ваши ангельски-беспомощные жизни, вулканически взорвать ваше сомнамбулическое, безотчетно-безрадостное оцепенение.

Простите... или, может быть, — благодарите меня!

Я ваш — крайний правый!

Я ратуе еще больше — ЗА!

Доведенный до белого каленя обстоятельствами, предлагаю вашему вниманию следующую петицию, для подачи... как их там — их величествам, выборным депутатам, властно властвующим победителям, словом... нашему начальству, отцам-благотетелям, пасущим людское стадо.

Надеюсь, знаю, что мы здесь свои люди и ни одного

добропорядочно-мыслящего, уравновешенного, здорового человека здесь нет.

...Из-за такого-то все и началось!

Мои дорогие братья, кривые, узловатые, худосочные цветочки (Франсиска Ассизского), представьте ужас, неожиданность моего положения, состояния (а я, Михаил Долгоиков, не лучше и не хуже многих из вас!), пришедшего сюда — в храм, на поклонение, на моление — вступить в Чистилище, в Paradis Artificiel принять пищи телесно-духовной... словом, благодаря предельному напряженью, быть пропущенным из нашей временной, юдольной жизни, на миг в жизнь будущую, грядущую (верим, что не бесконечную тоже) примерить костюм, приспособиться к дороге, к чувствам, к их восприятию, впитыванию.

Братья! Нас много здесь, посвященных, добившихся удостоиться следовать по спирали Чистилища, но мы — каждый отдельно, каждый во всем!.. но сам — один!

...И вот, о горе мне, горе искушенному!

Не дальше чем вчера, едва переступив врата, я, слабый, недостойный, был полонен врагом, выброшен из ладьи претворяющей, уносящей, смешивающей со всемирностью, со вселенским вздохом, биением пульса, мировым теплом: почувствовал на своем молокообразном, воспринимающем теле-ухе тяжелую, материальную, земляную, плоскую руку оставленного, печального мира.

О, как все перемешалось во мне!

С какой высоты я рухнул вниз, с нераскрывшимся парашютом, унося в оболочке своего тела — лохмотья, кусочки, капли — звучащего, горяче-сладкого Вышнего мира.

О, я великий грешник, мишень, приманка Искусителя!

Братья, мои муки жестоки!

Заступитесь, спасите! Молитесь за меня!

...Нет, я меняю тон!

Здесь не место хныканью!

К делу, к делу!

Предлагаю утвердить (поправок и изменений — не потерплю!) следующее требование:

Мы люди-человеки (гомункулы) известного класса-общества, психологического, морального склада, просим, требуем (протестуем): полнейшего отделения церкви от государства — выделения нас в самостоятельную (вне закона стоящую) единицу, прерафа-элитскую пустынь (Желтый дом), без права малейшего вмешательства в наши дела, сведения отношений с остальными обитателями земли до товарообмена: нам — корку (кожу) хлеба, вам — плоды наших духовных садов.

...Нет, нет и нет!

Еще ближе к делу!

Братья, граждане, весь наш народ, с глубокочтимым и уважаемым медиумом во главе, мы здесь все налицо!

...И, уже совершив неслыханное святотатство, заставив повернуть ваши паруса, свести вас с обычной дороги в мою сторону... братья, это во мне борются Добро и Зло, и по мере того, как я освобождаюсь от душившего меня бешенства, раздражения, — чувствую, знаю, вижу, что мы побеждаем!.. Вот оно — выходит из меня, набухает, подымается на дрожжах, по частям, побеждаемое зло, вздуваясь, огибая мое тело сдобной лепешкой, куличом, бабой, кремовым пирожным: слоеное отложение гранатно-раково-плесневелого чирья, — предлагаю (еще одна, последняя минута внимания!) уважае-

мому собранию следующие благотворные, по моему крайнему разумению, параграфы закона, которые несомненно сумеют предотвратить нарушение хода, распорядка мистерий, нашей надзвездной, загробной жизни-смерти-питанья.

Создадим крохотную, но "оборудованную" — армию, охрану, блюстительницу наших жизненных интересов, ограждения от вторжений, набегов чуждых нам сил, коверкающих, разрушающих наш мир, разбивающих нашу цельность, единую устремленность, оскорбляющих нас, низвергающих, бьющих нас по физиономии (нас — трухлявых небожителей!) своим грубым, непонятым — ненужным присутствием!

...Мы возмущены, взбешены, мы рвем на себе волосы!.. Просто от их присутствия в нашем кругу!

Вон, вон, вон черные пятна из нашей жизни!

Братья — довольно!

Не потерпим больше разбойничьих набегов, нападений диких кочевников!

...Только найдутся ли между нас: химики и прочие инженеры, законники и, может быть, даже — мускулачи?.. Если нет, так выписать несколько пар, доставить их в свином вагоне.

Вот состав и вооружение патрулей-караулов... кассирша не в счет — при входах, воротах в нашу страну: манометры, спиртометры, указывающие — присутствие, накопление, настанье в атмосфере — алкоголя, и компасо-весы, отмечающие присутствие здорово-нормального, уравновешенного, кипуче-кровного брызжущего весельем тела.

...Отсюда вытекают определенные, упрощенные обязанности: "ваше место — занято!", "но я только что купил билет!", "ошибка, я контролер, вам в кассе вернут деньги!", "но на каком основании, я не хочу!"... после чего в коридоре, или на лестнице, за спиной — пульверизатор... и усыпленный мускулач уносится в помещение оказания скорой помощи, а по окончании бдения: "вам лучше, идите домой".

О, будь прославлено имя баварского короля!

Парочки — разъединять всенепременно! Они переживают наполовину, пополам. Они недостаточно плотно одеты или, может быть, недостаточно обнажены для нашей чистой (холодной), пламенной атмосферы. Играют на два фронта. Вообще, компании, стадность нам — противосущны, и, втиснувшиеся в храм, как сельди, мы предпочли бы бдеть, каждый имея определенное место, одиночную камеру-банку, кажется мне, братья-камчадалы!

Юность уйдет на стенды, а подросткам и детям — сады и визжащие поросычьем хрюком школы.

Исключительных, предрасположенных, "наших", последних в классе и на перемене отличить легко!

...Вот, братья-друзья, и все преобразования, и все случаи, необходимые для руководства-самозащиты нашего царства!

Не принять их нельзя, существенных дополнений не требуется!

Много ли человеку надо!

Наша пища даже менее вещественна, чем понюшка, затяжка табака, кокаина, конфетка гашиша, шелушинка опиума!

...Но, обеззаконьте же и вы нас! По какой милости терпите, допускаете нас в жизнь, вы, милостивые, веселые, багрянородные владыки!

16. ЗАРЖАВЕВШАЯ ДОРОГА

Нет лучше немецких дорог, потому что все ведут на фронт.

• Берлинские же тротуары отвратительны.

В спокойных улицах, даже зажиточных частей города, они мощены: старыми гвоздями, битыми бутылками — по ним следовать так же приятно, как по щебню или скошенному полю — босиком.

По такому-то тротуару ковылял Долголиков в одном из пригородов, неуклюже-спокойно-откормленных, почти без запаха пива-сигары... пропитанных незаглушающим порывом фантазии: жизни, неба, солнца, видов — Италии, Испании, Парижа, где дальний конец каждого особняка врежется в горизонт, разворачивая, расшатывая плиту лазури неуклюжей, толстой, малевой тверди, где каждая комната — дом, а сад — Парадиз, потому что — непременно соединяется с настоящим лютеранским раем (там-то и есть конечная станция трамвая Берлин — Багдад), и от одной до другой остановки есть время вздремнуть, переваривая красную пищу, скрепленную цементом картофеля, разведенного на пиве.

Уж показалась вдали цель долголиковского напряженного лета: замок-вокзал, переливающий цветником стеклом, с подъездом-мостом.

...Но, зазевавшись, он натолкнулся на фонарный столб... и своротил его «vorsicht!» тотчас же прохрипело ржаво по улице (хотя кругом — никого и не было), и почувствовал, что начинает опускаться, успев заметить, что из столба выскочила фигура — заржавевшая, в истлевших лохмотьях, и механически оживши — начала опускаться, вертя ручку — фонарную лампу, по мере оседания части мостовой и тротуара.

Вокруг Долголикова все — скрипело, визжало и дрыгало, квадратное небо отлетало.

Площадка осела глубоко, прохрипев по герметически прилегающим, позолоченным ржавчиной, чугунно-кожим, стенкам.

Остановилась толчками, в разъявшемся пространстве, между усилившихся хрустов и визгов, сильно накренившись.

Туманом, тучей взлетела иодистая, железная пыль.

С закрытыми глазами, расчихавшись, испугавшись, что — выдает себя, скатываясь под создавшийся откос, Долголиков повис, порезавшись, порвавшись на путанице фантазматических машин.

(...Он, конечно, давно знал, догадался, что попал — на Бесшумную Дорогу, пересекающую Германию от французской до русской границы, перекрещенной nord-sud-ом датско-австрийской). «Vorsicht!» вперемежку с еще более оглушительным «achtung!» — гремели по подземелью. Сверху, с поверхности земли, чтобы заглушить их, рокотал «Deutschland über Alles!», через несколько минут сменившийся Лознгрином, но скоро все умолкло.

Ржавые железные брусья и спицы — ломались под тяжестью его тела, и, исполосованный, Долголиков соскользнул кое-как, стал на ноги.

Он находился в зарослях машин.

Редкий электрический свет слабо освещал уходящие в стороны своды и коридоры.

Площадка, на которой он опустился, — накренилась, сев на несколькоэтажный танк, нахлобучившись на него шапкой.

Долголиков выбрался на дорогу, как обезьяна, как муравей.

Нога везде, ровно, по шиколотку уходила в жидкую, зеленую плесень.

Много лет здесь хозяйничало только молчанье.

Танки, танки и танки, от непомерных до карликовых, как матрешки, вставляющиеся одна в другую; аэропланы, вертолеты, чудовища невыразимой жути — наплыли на Долголикова, летучие мыши... о, он меньше мушки, в паутине! тянулись к нему, обмохначенные лишайной плесенью: крылья, лапы, клювы!

Побежал, визжа, скуля, свистя, стуча зубами.

...Вдруг ожигающий рефлектор автомобиля.

Завопил: "Спасите! Au secours! даже — socorro!"... А по немецки-то и не знал!

Но они, эти живые существа, были взбудоражены не меньше: «Ruhe! Calmez-vous! Смирно!» — выпустили они в обрадовавшегося голосам Долголикова.

Их пятеро, все в резиновых перчатках, масках с хоботами, в белых халатах.

В мрачном молчаньи посадив пленника — поехали по следам, пустив в ход сильный свет.

«Русский из Парижа», — заявил один из них, роясь в карманах Долголикова, «художник» имел выставку в Берлине... «Орнаментальный кубизм», а вот русские, конечно, умели читать отпечатанные листочки «Перевоз дада». «Ah, so ein Dadaister!» Вот, с рисунками, его же поэма, по-французски — «Foule immobile».

Долголиков уже совершенно успокоился, как всякий больной в руках врача, слушал, наблюдал, даже улыбался.

Автомобиль шел очень тихо, все были увлечены, и остановился.

«...Вот конверт советского посольства!» — и обращаясь к пленнику: «Может быть, вы собираетесь ехать в Россию?»

«Да, надеюсь, в скором времени, благодаря некоторым связям». «Как относитесь к Германии?» «Она тоже очень пострадала от войны». «Каким образом вы очутились здесь?»

Долголиков рассказал.

Тогда один из немцев, не произнесший до сих пор ни слова, поглощенный наблюдением, сказал успокоительно: «Принимая во внимание огромную разницу между его паническим возбуждением первого мгновенья и теперешним состоянием полного покоя, можно заключить, что злого умысла не было и что его приключение правдоподобно».

«Вы видите, что здесь несколько лет не ступала человеческая нога, — провезли, показали, освещая рефлекторами, еще несколько километров, — и вы убедились воочию, что Германия никаких военных подготовлений — не делает, и при случае — подтвердите это?»

«Сочту священным долгом! Я верю в будущее России и Германии!»

Ему дали щетку — почистить костюм, потом сфотографировали и завязали глаза.

«Вы немедленно же отправитесь на вашу родину! Идите — показаться квартирной хозяйке и упаковать вещи. Негг von Unsern — поможет вам собраться и устроиться в вагоне. Вы достаточно культурный человек, чтобы держаться благо-разумно — это в ваших же интересах».

17. ПАПИРОСНЫЙ

Долголиков едет с братом.

Николай такой же, каким был, тринадцать лет назад: повыше него, элегантный, черные волосы с пробором на боку — коком; мягкие и даже веселые карие глаза. И усики — едва ли больше кабаньих клыков, томно-сладостные, закольченые, ороговевшие надкрыльями-предохранителями над шикарными розами — пунцовыми, лопнувшей, переспелой вишни, но хорошо вырезанными губами, — бархатные, барбарисовые.

Он в "солидном" новом костюме из "своей", добротной материи.

Недавно женился, торгует еще заодно с отцом и пока живет в их доме.

А Долголикову себя не видно, он, как всегда, — только что родившийся сморчок, приспособившийся высовывать голову сквозь щупальцы-волосы охватывающей его вплотную тьмы, хаоса. Пускает рефлектирующие ростки в пространство.

Его страх убывает.

Во всем поезде их двое.

И где же и ехать им, как не в Германии.

...Хотя по виду будто меньше, чем Германия, — скорее Россия.

Но вагон совсем не русский, ни в коем случае.

Маленькая, квадратная комнатка, как игрушечная кухня, вся только что бело-кремовато выкрашенная, косяно-сверкающая внутри; а снаружи — темно-коричневая, почти черная, эмалирована.

Стоят и едут.

Эмаль — тихонько погромыхивает. Ни стульчика, ни замочка, ни соринки. И они даже без шапок.

Потолкать пластинки-стенки — и они перекажутся, а на их место набегут другие.

В углу, в паху передней и правой боковой, узенькое оконце: едва ли три квадратика, плоская решетка без стекол.

Только белая эмаль и они.

Любуются местностью через косо прорезанные полоски, как французские жалюзи.

Тунейшая, не южная, ослепительная трава.

Кое-где вкраплены белые кубы домиков. Для Германии мало, для России много.

Поезд катится прямо по изумруду и совсем не быстро.

Наконец остановка!

Одна из стенок заскользила, замелькала и разъехалась, как в товарном вагоне.

Брат, человек бойкий, прыгнул в траву помочиться.

Долголиков же последовал за ним как-то слишком поздно и, вместо того, чтобы очутиться в вагоне к моменту, когда почувствовал, что поезд задвигался, оказался в передней его части, на чем-то как на бугшприте, торчащем из носа корабля, но в уровень с землей.

Не теряя времени, он перебежал с него по двум или трем стеклящимся, скользким, иглотелым зачаткам платформ, схемам несозданных вагонов — к своему.

...Видевший происходящее железнодорожный служащий остался равнодушен к положению Долголикова.

Дверь заросла перед самым его носом, и вот он — на крыше вагончика.

Эмалированной, коричневой, почти черной.

Поездок летел уже быстро... на Долголикова еще кто-то — посмотрел безразлично.

Боязни, что сбросит с эмалевой, могущей выскользнуть из-под него, крыши, никакой.

Он кончил тем, что нашел отдушину, а под ней более широкую кирпичную кладь, почти в полчеловеческого роста, вроде печки. В ней торчала ветка орешника, с двумя-тремя орехами, а за ней — Николай.

"Ну, что, как?" "Да теперь — ничего, а то уж думал-было!"

Может быть, Долголиков и спустился бы в вагон... да вот — лежит на столе разорванной папиросой, какие брат, по-взрослому, набивал себе.

Левые нога и рука еще соединены кусочком бока и мясистые, а вот правые, покромсанные на мелкие части, — гильзы, пустые, выкрошившиеся, и цилиндр голени с крупинкой коленки, и полотнище ляжки, и горошина ягодицы, и пустая кирасса грудной клетки, и микроскопические, разбросанные пальцы, и спички-руки до локтя и предплечья, и пустой, круглый шарик головы.

Но все мыслит, и чувствует, и говорит.

...И немцы, не то чтобы во всезнании, а так от скуки — спрашивают, слушают, наблюдают и очень заинтересованы тем, что он говорит, переживаниями, мыслями, ходами и разрешениями вопросов, его картонной, папиросной головы.

...Взлетающими колечками дыма.

...Хотя Долголиков и некурящий.

18. ПОПОЛЬ И "ЕГО РУССКИЙ"

Вот он, перед глазами Долголикова, этот прекраснейший Пополь, или как его еще дружески зовут — Поло, на пороге своей комнаты нищенского отеля, стоящей в уровень со двором.

Наш Долголиков сидит у себя в номере, на первом этаже, между бугорчатым, шершавым столом, покрытым войлоком газет, и занимающим почти полстены окном.

Они — лицом к лицу.

Действие разворачивается (...хотя и всего лишь в воображении нашего слабосильного героя).

Воскресное утро и редкое явление — солнечно, тепло.

Поло только что отхлестал шестилетнюю девочку, сестру жены, живущую у них. Ее "воспитание" началось при Долголикове. Ребенок уже успел притерпеться, а также и стать лгуньей, и нездоровая от рождения она похожа на встрепанного, мокрого цыпленка. Сегодня папа "отдыхает", и она бита, если и первый, то, вероятно, не последний раз.

Раньше, всего прошлое лето, Пополь ловил бы, при данной обстановке, воробьев, которым соседи, как и весь Париж, крошат хлеб на подоконниках, кормят в садах из рук, теперь его моральное состояние хуже — не до того.

Охота состояла в следующем: на кругло-обструганый конец лучинки он наткал скатанный хлебный мякиш, а другой конец, плоский и легкий, намазывал незастывающим, липким клеем.

Воробей, клыка хлеб, трепал лучинку, которая коснувшись перышек, прилипла, лишая его возможности расправить крылья, улететь, терроризуя, парализуя его.

Поло подждал этот момент, чтобы схватить истерически пишущую, катающуюся по двору птичку, иначе через несколько секунд, умный и сильный воробей умудрялся взлететь на деревце, но и оттуда охотник старался стряхнуть его и, опаматовавшись, через минуту, таща на себе цепи, добирался до черепичной крыши одноэтажного дома, в котором живет удачливый охотник. О, сад пыток! Долголикову случалось видеть одновременно троих, скатывающихся вниз, подпрыгивающих, подлетывающих воробьев.

“Что это за птичка была у вас в клетке?” — спросил Долголиков Одэтту, жену Пополя, уборщицу отеля, по водворении, еще не имея случая наблюдать охоту.

“О, какая-то птичка, хозяева ее съели!” — ответила она не совсем довольным голосом.

“Как-то пройдет этот день для Мадлены и Одэтты — Пополь целый день дома?” — вздыхает Долголиков.

Хотя вчера, какими-то судьбами, Поло и не напился!

Но разве не бывало, что он ударил жену по лицу, в трезвом виде, недели полторы ходила с фонарем днем, по середине двора, за то, что, не найдя папирос в ближней лавке, бегала в другую.

История вольного обращения Поло с женой началась тоже со времени долголиковского поселения в отеле.

Однажды, засыпая, он услышал: урчащий, хорьковый, сдавленный, бронхитный, сыпящий дробью голосок Пополя, потом два-три хлещущих удара ремешком и вопль-возгласы, немедленно перешедшие в хрип-шепот, уязвленной Одэтты. Они укладывались спать, вернувшись из кино.

Потом начал приходить, под праздники, седой богатырь, не парижской хватки, очевидно, деревенский родственник. И каждое посещение: оргия, пенье, смех, крик до следующего дня, ночи бессонные Долголикова.

Старик изъяснялся только обрывками песен.

О “градусе” Пополя можно было знать по старинной застольной песне, которая, как часы отсчитывают двенадцать, пелась, когда он пьянел.

Попойки не прекращались. Поло кашлял сильнее, становился все раздражительнее... и нарыв, конечно, вскрылся — срывал злобу на ребенка.

Жена пробовала заступаться — мягко, сдержанно, в меру и, может быть, заодно, сгоряча, “воспитывая” девочку, Пополь угодил и по ней.

Так зараза леченья массажем перебралась и на Одэтту.

По ночам, вернувшись из кабака, он бросал на пол предметы, бормотал, сопел, потом по двору разносились плески по телу, и переходили в сдержанные, хриплые возгласы.

Как начинало биться заячьё, декадентское сердце Долголикова!

Кого он убьет — жену или ребенка? Двор спит, соседи, через стенки, терпеливо, привычно молчат, а может быть, по рабочему, по животному-усталому, здоровому и не слышат.

Лишь вспыхнет электричество в окне плохо спящего человека, отравленного газами.

Иногда, после прихода зловещего старика, Поло не ходил на работу. “Ты сегодня не была в школе?” — спросил однажды девочку Долголиков. “Мама оставила меня дома, потому что папа не пошел на работу”.

Один раз он исчез на несколько недель... в госпиталь, удостоившись отзыва, что ему там делать нечего: нужен санаторий.

Супруга, как и всю жизнь, ни на минуту не прекратила хрипло горланить и насвистывать модные песенки все рабочие часы.

“По излечении”, месяца два прошло “благородно”, заходила фельдшерница-монахиня... но всему же бывает конец... пополеву воздержанью — тоже!

Первое же появление старика восстановило былое положение: поутру Поло как-то сладко лежалось и весело, добротнo кашлялось.

И, конечно, вслед за проявлением такого могущества — показать свое величие жене и ребенку — дело само собой подразумеваемое!

Но вот в один прекрасный день “на глазах”, так сказать на ушах, Долголикова, Одэтта заявила, что первое же рукоприкладство повлечет на собой развод.

...Ага-га! это его протрезвило месяца на три!

...Но увы, контракт уже нарушен, и основательно, так что даже раздалась голоса, требующие прекращение шума, услышали хозяева, дошло наконец и до их Высокого слуха, и они несколько раз воскликнули: “Шшит! Довольно комедии!” На этот раз даже и Мадлена проснулась — до сих пор, когда дело не касалось ее лично, спала, не слышала, и, плача, заступалась за сестру, крича: «Пара, маман!»

Даже и сосед справа подошел к их двери и сдержанно спросил: “Что с тобой, Поло?” — и на какой-то ответ произнес веско: “Будь же последователен!”

Разбойник и сама избиваемая обрушились на вмешавшегося... тогда сосед воскликнул решительно: “Да ты все это мне что ли говоришь?”

“Нет, нет!” — попятился Пополь.

“А то смотри!.. — и на всякий случай: — Ты ведь знаешь, где я нахожусь!”

Долголикову подобное “самообладание” понравилось: не будет ли этот прихрамывающий, виляющий назад, поджимающий его, волочащий по-лисьему воевода: шакалом, гиеной — между овец?

На следующий день после нарушения контракта, не слыша пенья и свист уборщицы, Долголиков принял это как должное: конец пыткам!.. конечно, и его, долголиковским, прекраснейшая пара больше не муж и жена! Пополь, по всей вероятности, куда-нибудь провалится и через несколько месяцев сопьется и канет в вечность.

Но даже когда после полуденного перерыва она и запела, ему показалось, что поет она по-другому — решительно, непреклонно, свободно — по-новому, что это лишнее доказательство, подтверждающее, что она, наконец, почувствовала себя человеком.

...Однако ближайшие же дни показали, что, очевидно, после побоев она так сладко спала, что забыла о происшедшем или приняла его за страшный сон.

— Ну, матушка, это не решение вопроса... и пеняй на себя, если достойным завершением одной из ближайших суббот у тебя будут выпущены кишки или разможжена голова, а Мадлена — измолочена о косяк или мостовую двора!

...Ах, если бы в сметах Долголикова оказались какие-нибудь недочеты и все возведенное им сооружение явилось домом на песке!

...Допустим, что он преувеличил способности Пополя, что он окажется сыном своей страны: воспитанным, вышколенным французом, и что до битья он дошел только по ступеням термометра, подымающегося в нем туберкулеза, за-

глушая боль, но все же понимая, что ему выгоднее, во всех отношениях, жить с работающей женой.

Будет проживать около нее, сколько ему отпущено лет, напиваясь елико возможно, отводя душу, поколачивая ее с умом.

Нечего и говорить, что судьба Мадлены, так или иначе "живописна" благодаря воспитанию Пополя... а также, с недавнего времени, и самой сестрицы-мамаши, напридачу съпящей колотушки, со своей стороны ежедневно, почти без единого пропуска, но все же более "материнские", не до крови, как однажды, в ответ на «bonjour rara!» тычком, концами пальцев, по губам.

Ее хлестки соединяют в себе три добродетели: выработанная веками, система воспитания; потом, для смягчения папиного массажа — противоядие; ну, а в-третьих — и она человек! — убавить пыл собственных настроений, самочувствия.

...Итак, возможно, что Поло выработал в себе правило: "Пей и бей, но последнего ума не пропивай... как это ни печально, ни досадно!"

Пополь, владыка-повелитель, отпустил и себе и жене, как и девочке, несколько лет жизни! Но тут-то долголиковская рубашка, которая ближе всего к телу, и начинает коробиться, так как теперь он правильно, даже не слишком ли четко, видит, чувствует свое положение третьего лица в этом приятнейшем из положений... Поло, хозяин, взял себя в руки, по отношению к жене, но это совсем не значит, что он отказался, сложил полномочия, своих преимуществ, "прерогатив власти", накопляющимся парам нужен выход... он, конечно, будет найден и, по предположениям Долголикова, давно уже отыскан!

...Нет, все-таки Поло даже до странности не ревнив! Ну, конечно же, клапан этот — ревность! И объект, несомненно, — Долголиков, единственный в отеле "буржуй", не работающий на фабрике, целый день дома, один петух на весь курятник, и, если не от жены, то от других, узнал, что соперник — художник, рисующий никому не понятную беллиберду; одет не по-ихнему... но откуда Пополу знать, что почти все это "с царского плеча"... ведь он, французский чернорабочий, вероятно, за всю жизнь недонашивал ничего чужого! что приходит домой — в полночь, и в час, и в два, спит до восьми-десяти часов, и даже больше, в отельной кофейне не выпил ни с кем, ни раза, и так далее, словом — человек, держащийся особняком... как раз способный завладеть женским воображением, что в том, что у него не видели женщин!.. да и на что они ему! Одэтта убирает комнату каждый день!

Так бредит Долголиков, сидя по ночам за шторой освещенного окна, или уже лежа в кровати, с ужасом слыша: удары, звон разбиваемой посуды, мрачный, нападающий голосок, — ожидая каждую минуту услышать выплывшее на поверхность его имя, угрозы и, вслед за сим, запущенный в окно стул, бутылка, бег через двор, с воем, по лестнице, по коридору, к его двери сбесившегося Поло.

Господи, как его встретить, кричать, звать на помощь, а он за это время может выломать дверь, ворваться!.. Или отворив ее потихоньку, ударить его с размаха: кастрюлей, подрамком?.. а вдруг он окажется проворней да, наверное, даже... привычней!.. и вот я — с раскроенной головой, с распотанным каблуками лицом, с двадцатью ножевыми дырами на теле, разрезанный, по апашской привычке, на куски!

...Нет! Все произойдет по-другому!

Опять-таки несколько удачных выпивок, кровь горлом и врач произнесет приговор; или на несколько дней лишится работы... (Долголиков вспомнил восемь безработных дней, битые кулаком по столу и "ученье уроков" с Мадленой.)

"Это ты все наделала, ты этого хотела — избавиться от меня, чтобы жить без опаски с этим гнусным обольстителем! Не бывать этому! А moi le Russe!" — прокричит мне вызов из своей комнаты, полезет по водосточной трубе, в окно.

...Или будет ждать около отеля, убедившись, что мой ключ висит в кофейне, и, завидев, — даст поровняться с собой, и вдруг продавит лицо кулаком, бешено, угрюмо хрюкая.

...Что сделаю я? Как поступлю?

Выну ли из кармана грошовый, расслабленный перочинный ножичек и полезу с ним на Поло... или начну им ковырять себя... ведь оскорбление-то уже получено и жить все равно больше нельзя! или безошибочно зная, что покончить с собой не смогу ни в коем случае... от безвыходности, безысходности... ведь уже оскорблен! — буду стоять перед ним, опустив руки и голову... и он, мой хозяин, Пополь, пораженный и благодарный, даст еще несколько пощечин, но уже почти играя, глядя, показать окружающим славу свою и величие, и жмурясь, мыча и сладко облизываясь, отойдет.

...Конечно, ненадолго, ласки-допросы возобновятся при первой встрече... он уже будет их искать, а то и явится сюда, ему будет хотеться, чтобы это повторялось так же часто, как, допустим, посещение кабака.

Так-то мы и будем жить, "Хозяин и работник", каждый при своих обязанностях, во веки веков.

...Как все это произойдет? Скоро ли?

Ах, если бы можно было выбраться отсюда! Уехать из Парижа! — шепчет Долголиков.

19. МОБИЛИЗАЦИЯ КИРИЛЛОВЫХ

— Товарищ комиссар, мобилизация произведена — все Кирилловы налицо!

"Вести их сюда!"

"...Нет, нет, оставьте нас в покое!" — сказал комиссар засуетившемуся было выстраивать по струнке, обескураженному стадным поведением мобилизованных чекисту. "Мы меньше всего военные... и, надеюсь, — искренние друзья, потому что, как я и не думал сомневаться, — все налицо.

...А-а, старый якутчанин, мой выученик в кирилловщине!

Должен сознаться, что рад видеть тебя мобилизованным, мне приятно, наконец, знать, что ты снова возвращаешься к деятельности!

Ты нам не откажешь в этом!

...Надеюсь, плохо ли, хорошо ли, меня поймут все, потому что мне лестно и быть понятым, и услышать ответы, ибо я знаю, что нахожусь между лучших, избраннейших людей, философов-практиков, доводящих свои мысли до логического конца, до полного, исчерпывающего разрешения.

Вы здесь для того, чтобы узнать, что мы развязываем вам руки, вы свободны — располагайте собой по собственному усмотрению!.. То есть, с некоторыми оговорками, конечно, но факт совершившийся — теперь ваши желанья исполнятся!

...И так как вам безразлично, каким способом покончить с собой, то мы и подумали за вас и укажем каждому наилучший, наиболее благороднейший, наиболее полезнейший.

...Действительно, знаменательнейшие товарищи, есть — смерть и смерть!

Ибо можно умереть, так сказать, никчемно, даром и можно это сделать даже гениально, исторически, полезно, заслужив, снискав этим вечную славу и память грядущего человечества, для которого "мы отдали все, что могли"!

Потому что дальше собственного пупа вы ничего не видите, то нам, надеюсь, и нетрудно будет договориться!

Мы вас доведем!

...Так, итак-с! довольно толочь воду! Дело не ждет!

Командировки все без исключения интересные, даже завидные!

Вы рассыпаетесь бисером, по всем земному шару!

Почти каждый вернется к себе на родину, хотя это и говорит вам убежденный интернационалист... да собственно говоря, вы более безродны, чем мы!

Другие увидят места давно знакомые.

...Небось, размяться-то даже и вам хочется!

Хотя, увы, я сделаю некоторые исключения, кое-кому еще придется повременить!

Это касается товарищей Кирилловского, Кириллишвили и Цирильзона.

...Однако, советую вам не унывать, может быть, вы пойдете еще за русских, за обрусевших, потому что в них нужда острее, так сказать, не то чтобы уж первой важности, а просто на русских больше расход, нужны оптом, так сказать, и... должен сознаться, что жребий товарища Кир-эль-Рифа и других товарищей арабов — завиднее.

Переходя, наконец, к делу, я прямо и начну с вас, товарищи арабы!

Вы, Кир-эль-Риф, весьма и весьма кстати, знакомы с воздухоплаванием.

...Ведь вы, кажется, единственный?

...Ничего не поделаешь!

Вы — командир юнкерса дальнего плавания; через неделю — сбросите на Париж полный груз взрывчатых и газовых веществ.

Вы, инженер Мор-эль-Кир, сегодня же начнете — делать учебные полеты.

Вам отдается Мадрид!

Вы, samarada Cyrillo Nada, убьете маршала Бертрана!

Вы, samarade Cyrille Safard — Рибера Премиио!

Вы, Sutilisek — генерал-инспектора чехословацких войск.

Вы, Sutillovki французского генерала, начальника польского генерального штаба.

Вы, Sutillesku — взорвете отель французской миссии.

Вы, Jonh Sutil — убьете Парчелля.

Вы, Кириллов — третий, четвертый и так далее, вы, Кирзон — первый, второй, третий и так далее и в, Кир-Ек, Кир-Гиз и Бурят-Кир — каждый в тот город, где жили раньше: в Париж, Прагу, Берлин, Ригу, Варшаву, Лондон, Нью-Йорк, Белград, Константинополь, Шанхай, Буэнос-Айрес, Сидней и так далее; вам предстоит напомнить благодушествующим обрезавателям купонов и биржевым зайцам, что они на своей толстой шее таскают сотни тысяч и миллионы белогвардейцев, бывших высочеств и прочих превосходительств и благородий!.. Что-то уж больно плотно осесть захотели!

О подробностях осуществления вашего наконец достиг-

нутого желанья, если захочется, мы узнаем из газет, но все эти порученья даются именно вам, потому что нужно, каждый раз, непременно, несмотря ни на что, остаться на месте, отдаться в руки охранителей дряхло-развратной буржуазии, чтобы каждый раз было известно, что испанец убил француза; что газы дали понюхать американским посетителям вертепов Монмартра и Монпарнаса, бесящимся с жира снобам — рифанцы, — что убили и ограбили: русские эмигранты-ученые, бумагомараки-мракобесы, учившиеся, по возможности, в местных университетах и академиях.

Словом, в каждой стране, на каждое дело, и на каждого буржуа — по бомбе, по пуле!

...Виноват... виноват!.. да, конечно, я понимаю — ваш великий прародитель только позволил собой прикрыться, но вы должны иметь собственный критерий, по-моему, вам, нюхавшим русского пороха, видевшим, а большинству, даже и создававшим и проводившим в жизнь победоносную диктатуру пролетариата, и убедившимся в ничтожности человеческой личности, единичного сознания, вам... точнее — всем нам, совершенно потерявшим свою особность и самостоятельность, вам, доподлинным ничевокам, живущим — только благодаря нашей бдительной опеке... ну, что значит для вас в последний момент сознания — захватить с собой и других и таким образом — оказать величайшую услугу человечеству?!

...Наконец, мы приказываем!

И будьте уверены — сумеем обставить надлежащим образом техническую сторону выполнения... потому что вы знаете, кто такой Петр Верховенский!

...Итак, желаю вам удачи, товарищи!"

Следуют ружкопозатья, способные кончиться вывихами.

20. "ПОГОНЯ ЗА ЗОЛОТОМ"

"Что, Долголиков, заделываешься в кинематографические критики?"

— Нет, куда к черту, даже и не видел! Просто требуется изжить, выгнать из себя — скачку, попытку посмотреть, эту самую "Погоню за золотом".

"Значит, даже и развлечение без муки, без надгробного рыдания не обделывается?"

— Ничего не попишешь! Это, конечно, не забава и не развлечение, а психологическая потребность, проповедь, сказанная каким-нибудь святителем, на твоих глазах разрешенный Л.-Ф.Селином, Кафкой, Т.Харди или Достоевским — жизненный случай, живой кусок их биографии.

Разумеется, я смеялся иногда до упада, смотря фильмы Чаплина, но по-гоголевски, его горьким смехом. Шарло — не классический, абстрактный, идеальный актер, кобеляющийся, жеманничающий под кого прикажут. Чарли — не подделывается ни под кого, не учится ничему. Он выявляет себя.

"Скажи на милость, какие блистательные мысли!"

— Ну ладно! У меня, по велению Рока, оказалось свободное, так сказать, пустое время, вот я и ударился в словоблудие... но какое тревожное, калечное, мучительное!

Однако, вчера, как, впрочем, и каждый вечер, пошел... по собственным делам... по собственным делам! — в Ротонду, она же нашей нищей братии биржа. Для себя-то, скажем, для... ничего интересного, не открылось... словом, сегодня утром, с приблизительным адресом скакал киселя хлебать

по Парижу, конечно, на своей, экономической паре, к мадам Купп предлагать свои услуги в качестве подмастерья, по всяческим прикладным искусствам... Конечно, вчера, когда она сама была на бирже, рабочие нужны были, спешно, немедленно, а сегодня, мы с ее супругом пошлепали губами, и вот, возвращаясь с такого блистательного заработка, по всегдашнему, на паре собственных, чистокровных иноходцев, я увидел, что в кино тех мест идет "Погоня за золотом".

...Милейший, ведь это событие!

Я постоял перед афишей... Взять билет, конечно, и в голову не пришло, и продолжал путь.

Дома набил барабан, и вот — писал, писал...

Дальше в лес — больше дров, рука все развивала скорость... а остальное-то тело, незанятое, уже порядком начинало зудеть, требовало смены впечатлений... в кино, в кино, на Шарлотку, на "Погоню за золотом"! скулило, переняв повадку у запертой по соседству собаки.

Что же делать! Несмотря на то, что я не пошел "смотреть себя" в двух фильмах, в которых участвовал фигурантом, и что душевное мое состояние вынудило меня эти последние дни быть три раза на концертах... сегодня мне было необходимо посмотреть "Погоню". Ведь идти в Ротонду все равно бесполезно.

Писал да писал, все прытче, но вот и положенный срок, с которого должна начаться скачка в кино, отрываюсь на полуслове, даю ход, но тотчас же возникают побочные вопросы: а не возможно ли было бы, ваша милость, заглянуть в русскую обжорку, разогнать оскомину от картофеля и овсянки? Соображения против: различные, во-первых — аппетит еще не нагулял, во-вторых, не будет ли поздно в кино?... помимо лишних расходов!

Прямую дорогу к харчевне пересек решительно. Но, идя параллельно, глядя на часы, свернул, решив, что дойду слишком рано.

...И вот — две дороги: идти прямо — глупо торопиться, вправо идти — можно опоздать, да и карману начетисто... но похлепать щей, одну только плошку щей, больше ничего, для-ради увеселенья, перемены желудку полезно, право же, не вредно!.. ведь такое редкое удовольствие!.. И вот, ругая и кляня все кувырком, расциркулив ноги до самых ягодич, зашагал по щи!

Большинство столов уже заставлено стульями, едоков всего несколько человек... за стойкой удивились, что одни щи и даже без хлеба!.. Мой еле слышный, раздавленный нервностью, утопающий в неизжитой сентиментальности и серый от скуки, голос приняли, конечно, за умирающего от голода... им не в диковину!

Щи же, право, вкусные!

Через две минуты в путь, но под уздцы — не расплескать, не взбултыхать полный драгоценной благодати сосуд.

...Итти, не итти?... опоздал?... сидеть на овсянке, не рыпаясь — день жизни... а вдруг пропустишь Ротонду?... Нет, в Ротонду сам нож всади!.. Ну, погоняй на Шарлотку!

Понемногу разгорелся снова.

...А хорошо, если бы оказался хвост, не было билетов, поворачивай тогда оглобли прямо на Монпарнас!

Вот первый кино — O sole mio!.. нас не касается! За ним — второй — тоже, и вот, еще издали... о, да, нет сомнений — хвост! Почти совершенно спокойно, даже радостно: да здравствует Ротонда!

Докатился по инерции.

Подоспевают семьи, с купленными билетами, хвост небольшой, но решительный, толпа шетинистая, а по середине тротуара студенты-бессарабцы, деловито совещаются — "не будем же брать самые дорогие билеты!"

Ага, и с легким сердцем: adios, aufwiedersehen, au voir, good bye! бувайтэ здоровэнки! — переставил паруса на Райские острова.

...О, вот киношка!.. Еще в одном из этих отелей едва было она не сняла комнату... я же и искал! А, что если вдруг в нем?..

Да, вот она, та же самая "Погоня за золотом"! Вижу афишу, перехожу дорогу: пустынно, невесело — один-два человека купили билеты.

...Нет, курс уже взят, вперед! Котлы разогреты, слишком много пара — разорвет!

...Вот группа соотечественников, большей частью недоброжелатели, — не раскланиваюсь со всеми — "за одно".

Ротонда "для меня" пуста.

Для очистки совести — ревность на придачу — заглянул в "Дом", и, не останавливая бег — домой, в себя!

...Что и требовалось доказать, размялся, взбудоражил кровь! ...То есть, достиг равновесия! Вот и все!

21. НА БЕЗЛЮДНОЙ УЛИЦЕ

Долголиков шел в метро, не торопясь, не волнуясь. Тротуар, между каменных стен, потайных монастырьков и больниц — широкий, пустой.

И лишь за сотню шагов, в развалку, прохладаясь, одетый, как в деревне, по праздничному — встречный.

Идя по своей, даже крайней правой, стороне... идеальный исполнитель предписаний, почти касаясь стены, Долголиков, хотя и замечал время от времени надвигавшегося человека, ни малейшего внимания ему не уделял и уяснил только уже на расстоянии нескольких шагов, что тот хочет пройти около стены.

Чувствуя себя во всеоружии закона и рассчитывая, что встречный в последний момент подчинится, продолжал "гнуть свое"... и дисциплинированный француз — посторонился... но ровно настолько, чтобы не усложнять жизнь вопросом происхождения одного твердого тела, через другое, и заведомо намеренно, откровенно, со злобой показывая это... хотя и не с русской, допустим, силой, стукнулся с ним плечом.

Долголиков не ожидал этого и промолвил мягко, оглянувшись назад, «c'est gentil, ça!» — сон, va! — бросил встречный злобно, с вызовом, но опять-таки, не по-русски сухо, собираясь, привычно, обороняться, и, конечно, удивляясь вялости противника, — целым потоком слов, доводов и ругательств.

Немой и умонеповоротливый, человек иного темперамента, Долголиков не проронил больше ни звука, но по завету Достоевского, ему хотелось броситься перед обидчиком на колени, биться о землю, благодарить... издеваясь над ним... кричать, что он оскорбил беззащитного, преследуемого иностранца, не имеющего отечества — русского.

22. КАК БЫЛО

"Отчего вы разошлись?" — спросила однажды Долголикова женщина, загородившая ему весь мир.

23. ЗАЖАТЬ КУЛАЧИШКО

Он промолчал, но впоследствии вспомнил об этом, и ему захотелось разобраться.

К тому времени, как он сошелся с женщиной, уже около года любил другую. Произошло это мгновенно, увидев ее, проходя мимо столиков кофейни.

Громовой удар, оглушительный взрыв, сбивший его с ног, стерший с лица земли, моментальное превращение в раба, сознание своего ничтожества.

Хлынувший, огненный дождь.

С промежутками – видел несколько раз.

Конечно, не приходило и в голову завязать знакомство, заговорить. Перестав же встречать, начал восстанавливать в памяти, это сопровождалось почти ощущением ожогов, однако, чувство понемногу притупилось, испарилось в безнадежности, обросши слойком неотъемлемой болезни, нароста.

Опустившись в туман, в герметическую тьму, он кончил физиологической изменой – отчаянье победило!

Усердно проработав и измаявшись за зиму, в начале лета он уехал на берег моря.

Загорел и поздоровел.

Женщин-охотниц было много.

Но одичалось являлась для него непреодолимой помехой.

Наконец, приехала знакомая русская семья и с ней одинокая женщина.

Вместе купались.

По вечерам, на террасообразных камнях, говорливые супруги точили бесконечные лясы, а остальные, лежа, слушали, Долголиков головой на мягкой женской руке... пример подали дети.

Таким образом... преграда, отделявшая его ото всего, что не он, – растаяла. Он приблизился к постороннему существу: коснулся женского тела... и убедился, что отношения с Марией уже существуют, путь сближения пройден, к нему подошли вплотную.

Уверенность дала силу, быстро, даже холодно, довести дело до конца, потому что, кроме бурлящей потребности, ничего не было.

К счастью или несчастью, она оказалась женщиной незаурядной, опытной, много старше его.

Неизвестно, что бы он был без нее, без ее любящего, сострадательного, материнского руководства.

Ей с ним бывало иногда оскорбительно, противно, нечисто плотно.

Он жил с ней из-за безразличности, по создавшейся привычке.

Но вот он снова увидел любимую женщину. Чувство воскресло с прежней силой. Однако, будучи морально связанным и не умея обманывать, сказав, что влюблен... и благодаря сплетням, узнала в кого, он покинул Марию.

Конечно, не вышло ничего!

И блудный сын вернулся к матери-жене искать утешенье, защиту.

Но Мария начала уставать от эмигрантской жизни, а он остался тем же, что и в начале связи, и по привычке, отчаянию и лени готов был "тянуть ляжку".

В таком положении они находились еще некоторое время, за которое ров все углублялся, – до тех пор, пока, наконец, он, воплощенная инерция, не принял решение расстаться.

– А что ты ответишь, когда тебя спросят о твоём подданстве?

Вот уже большую часть жизни живешь в Париже, а тебе так же далеко до перевоплощения в настоящего француза, как и невозможен возврат к заурядному российскому человеку.

Россия – океан мути, неумыкаемой скуки, сумасшедшего горя, хамства, садизма, мазохизма; Франция – зеркало мелкой ясности, трезвости, сухой веселости.

...Таким образом, это величины несовместимые.

...В конце концов, не окажется ли твоей родиной немецкий романтизм?

Несомненно, француза пустят в какую угодно страну, да ведь ты-то французский гражданин, да – русского происхождения!.. и это "родное" происхождение пойдет за тобою тенью, будет каиновым клеймом твоей совести.

...А какой музыкой прозвучало в тебе завещание Калиты Кашеева "не оставляйте Россию, Михаил Иванович, она теперь такая бедная!"

С другой же стороны – "ежели чего" – французы-то первые будут того-с («en avant marche!»)

Небось, не забыл, как изгибался – и невинность соблюсти, и капитал приобрести... во время войны-то!

...Или "французом" уедешь в другую страну, так ведь опять же будешь тереться между русских, и тебя с ними в одну кучу и свалят.

Туда, к отцам-праотцам в лоно, в Славянию... да, конечно, лучше, чем быть олатинским... но беда в том, что столь прославленная доблестью и преданностью Карпатия, заморским принцам Долларам, известна не больше, чем столица скрипящих кибиток калмыцкого князька, или деревня Центральной Африки, раскинутая на деревьях.

...Но, конечно, соблазн большой, заветный золотой, на всякий пожарный случай... эхе, хе-с, благороднейший рыцарь!

А помнишь свое определение – латиняне крепче всех стоят на земле, они ее хозяева, ровнее всех вдыхают ее теплоту, зорче всех видят в ее атмосфере. И когда все потеряют голову и поклонятся Золотому Тельцу, они своей хладнокровной выдержкой и бойкой сметкой развеют его. Все, кроме них, на земле прохожие.

Ты, конечно, смеешься над пророчеством пристрастного умницы, что скоро в России будет лучше, чем на Западе.

...Но, седое дитя, рабочий день которого равняется мечтаниям о кругосветных путешествиях... ведь вспоминаешь же ты иногда, открывая кошелек: "не поработаешь – не поешь"!

...А висящий над тобою с отрочества диагноз – "это враг человечества!"... не морочь себе голову! ведь знаешь, что когда подступит – сделаешь все, что случится, только бы не умереть немедленно... Так что ли?

...Вот твоя подоплека, скрыть-то ведь ничего нельзя! милейший Закорючкин, корчащий из себя ангела!"

24. СПОЛОХ

Являясь довольно часто, Долголиков вошел, не стукнув пальцем, в стекло мастерской. Случалось, отворив дверь и сказав bonjour, или здравствуйте! – был встречем привет-

ливыми, ласковыми, ободряющими голосами; иногда натискался, на почти сумасшедшую, пламенную ругань; реже, на вдруг хватившую, отупевающую унылость, когда прекращались заказы.

Сегодня наш знаменитый кинооператор оказался свидетелем заключительной сцены "Ревизора".

"Когда получено?" – Консьержка только что принесла... "Понимаете, Министерство Труда – хочет прислать рабочего-француза, не утверждая "князя" в указанной в его прошении, специальности – гравера по галалиту!" – рассказывали взволнованно Долголикову.

"Что вы об этом думаете?" – протянули ему бланк.

– Первый раз натыкаюсь на подобное, во Франции! – мрачно ответил он.

Женское кудахтанье, досада и недовольство самого пострадавшего "князя" Итальянидзе, растерянность и боязнь друга-хозяина, что сейчас вот жизнь всего питаемого им рода, по знаменитому сравненью "как пух из перины", вытряхнется на мостовую, повергли Долголикова в оцепенение.

Поехали к адвокату Нахрапову, которому уже удалось однажды чего-то добиться.

Фабрика пошабашила: раскрашивальщицы, выжигальщицы, гравер, повар-химик.

Хозяйка, лицо которой походило на печеное яблоко, причитала, сквозь прирожденную уравновешенность: сколько говорила Яше, что надо вести книги и заявлять о работающих – не-членах семьи, – вот теперь явится инспектор, придется платить штраф.

И добросовестный оператор, полная фамилия которого: Ждущий Каждую Минуту Самого Худшего, продолжал снимать хаотический фильм, хотя непосредственно затронутые уже и вернулись успокоенные, – хозяин даже веселый, снова похрабrevший: вот у друга-покровителя, благодаря штрафу, иссякнут сбереженья, мастерская закроется, и он в пустоте – некуда будет прийти подработать, а в крайнем случае и перехватить. Придется снова думать о фабрике... дальше – больше.

Много дней волновалось расхоловшееся море, сухая, безнадежная, колеблющаяся, знойная пустыня, болото, затягивающее Долголикова.

25. СЛУЧАЙ ИЗ КИПУЧЕЙ ЖИЗНИ МИТИНГОВОГО ОРАТОРА

"Гражданки и граждане!

Я буду говорить об одной опасности!

Существует опасность общественного значенья, граждане!

...эта опасность – вот она!... Моя щупленькая персона!

Мужья, отцы семейств – берегитесь этого создання!

Он, этот червяк, подкарауливает ваши сокровища, и зная, что это не его, и никогда не будет принадлежать ему, все же делает их, ваших жен и дочерей, своими пленницами, повергает в безнадежность, в уныние, лишает их мужей.

Он лишает нацию детей, граждане!

Это благодаря ему, наши женщины идут в монахини, в проститутки, остаются старыми девами!

Это – новый Ляндрю... но значительно страшнее настоящего, граждане!

Это дело его рук: все возрастающие самоубийства и неис-

числяемое количество покушений, исковерканных жизней!

Вот результат его гнусной работы, граждане!

Вот примерный гражданин своего отечества, можно сказать, граждане!

...И суд – бессилён!

С точки зрения закона он ненаказуем!

Все шито-крыто! Тише воды, ниже травы!

Канцелярским, бумажным способом под него не подкапывайся.

Он не убивал, не помогал, не советовал. В большинстве случаев – даже не был знаком!

Даже ни разу не говорил с самоубийцами!

...В таком случае, в чем же я его обвиняю, спросите вы?

А вот я вам сейчас объясню, гражданки и граждане!

Вслушайте меня внимательно!

Есть соблазнитель, подобные Ляндрю, о котором я только что упоминал, уважаемое собрание, но ведь он сущий ягненок, по сравнению с моим обвиняемым, которого я стараюсь изловить уже столько лет!

...Я еще раз – возвращаюсь к Ляндрю, граждане!

Не поймите меня плохо!

У того было, так сказать, математически допустимое... или, если угодно, экономическое, пожалуй, оправдание, во всяком случае, Ляндрю понимал, что он – тягчайший преступник, знал, что делает, и делал, что хотел, он действовал сознательно, отвечая и довольный своими поступками... он, по крайней мере, не обманывал себя... и да, да, да!.. поймите, станьте на мою точку зрения, граждане!.. его оправданье в том, что он, по крайней мере, делал что хотел!.. А ведь мой-то молодчик – ответственен за гибнущие вокруг корабли... почти не больше, чем мы с вами, граждане!

Ляндрю убил двенадцать женщин... ну – прибавим еще пять, причины исчезновения которых неизвестны... Но, каким образом делал он это, спрошу я вас, гражданки и граждане!

Это всем хорошо известно!

После того как он ухаживал, жил с ними, может быть, некоторые любили его, иные, может быть, любили только его, только благодаря ему узнали любовь!

И потом... как это ни чудовишно, прошу, уважаемое собрание, извинить меня за подвернувшееся, так сказать, моральное... опять-таки, как это ни ужасно, оправдание, так сказать, его поступков, у него есть... ну, конечно, совершенно недопустимое, с нашей, человеческой, христианской точки зрения... оправдание... так сказать... как это ни невозможно! Это, видите ли, был его способ существования!.. Это было его предприятие, торговый дом, служба. Он тратил все свое время на подготовку, так сказать, сделки, купли-продажи; для каждой аферы надо было написать новый роман, новую пьесу, сценарий, старательно найти, выбрать злосчастную актрису и так далее... и любовные улады были для него не больше, чем любезный разговор с клиентом, а завершение – лишение жизни... всего лишь, так сказать, упаковка по назначению проданного товара... и если бы он не убивал их, говорю я, тогда бы, граждане, я первый предложил дать ему орден Почетного легиона!

Истории известны и другие... но это же сущие барашки! – распевальщики соловьем: Дон-Жуан и Казанова, например.

Этим в один прекрасный день женские клубы поставят памятники.

...А ведь мой-то щупленький господинчик, который

один, представляет собою общественную опасность, он доводит свои жертвы до самоубийства — вопреки своему страстному желанию... он их всех любит... и каждый раз хотел бы жениться и оставаться верным до гробовой доски!.. тогда как ему, чаще всего, не удастся даже и познакомиться с ними!

Он смотрит на них исподтишка, плачет от экстаза... и будьте уверены — не притворными слезами, ибо, как это ни странно, он — сама искренность!.. они его кумиры, немисливейшие боги; он жаждет, чтобы его любили! Он жаждет любви!

И, должно быть, обладая гипнотической силой, притягивает их, делает их сомнамбулами, погружает в грезы, в расслабляющие волю мечты!

И они любят его! Каждая хочет стать его женой, любовницей, иметь от него детей.

Он так подчиняет их себе настойчивыми взглядами, требованиями, безмолвными обещаниями, приказывает им с такой силой, что они разводятся с мужьями, возвращают слово женихам, покидают любовников!

Они отвечают ему мимически, языком влюбленных женщин, которого он, по наивности, по простоте, не знает, не понимает.

Он не думает о предстоящем, не организует, а убегает от него!

...Так вот, полюбуйтесь на этого музыкального дьявола, граждане!

Подивитесь на этого сумасшедшего с пеленок!

На этого творца экстазов, покидающего свои созданыя ровно за минуту до завершения.

Он бежит от мелочей, с которыми связано обладание женщиной.

Больше всего он бежит от нее самой!

Чувствует панический страх, говорить с ней... Говорить со своим божеством.

Он предпочитает бросить ее в грязи, покинуть отверженную всеми, оставить ее погибать.

”...Есть ли загаженнее слова, существуют ли театральные жесты — пошлей?

...А свой бред, каким образом передать его?

...О, глупейшая комедия жестикующий и вздохов!” — восклицает он.

И хотя и клянется, почти ежедневно, не начинать больше никогда, я все же думаю, и могу подтвердить, что это кончится только с последним его вздохом, граждане!.. потому что он это принес с собой в мир, несет в себе!

...А прожил он только еще половину жизни.

Он только еще совершенствуется, так сказать, только еще входит во вкус, только еще сатанеет, горчает, ожесточается, и привыкает, матереет!

Его беда, мне кажется, в том, что он даже и не делает ничего, во всяком случае, сознательно, намеренно, обдуманно... все происходит, творится — помимо его воли; и в ужасном потоке адского, разрушительного пламени, бушующего вокруг него, он — сгорает, мучается больше всех. Я знаю, как он ищет смерть, с какой радостью умер бы он! Но избавленье, забвенье бежит от него, как от Тантала влага. Я знаю об этом от него лично, он молит, просит избавить его от нестерпимых, нескончаемых мук. Он сам умоляет меня заступиться, защитить, прекратить все возрастающее количество его несчастных жертв. Сам вопит об ужасе, нависшем над нашим народом, источник, причина которого единственно он же и есть. ”Не будь меня!” — горестно восклицает он.

Граждане, взываю к вашему милосердию — совершим благое дело: прекратим муки величайшего грешника!

...Но самое главное, мои бедные соотечественники, подумайте о себе!

Ставлю вопрос о создании национальной самообороны, против быстрого, неминуемого вымирания, ибо... мы — невозможная страна, где мужчин почти уже в два раза больше женщин, из которых, кроме того, подавляющее большинство — старухи!

...Я очень рад, уважаемые граждане, что мне удалось, наконец, заставить вас выслушать меня внимательно!

Я рад видеть все возрастающее, все больше охватывающее вас волнение... Вот произошел отбор: передо мной, или, даже вернее, — я в плотном, наэлектризованном, стальном, раскаленном докрасна кольце мужчин.

Возвышайтесь, надвигайтесь, подымайтесь каменной стеной, трубой, превращайтесь в несгораемый шкаф, захлопните злодея!

...Я не скрываю, что вы — лицом к лицу с источником, первопричиной ваших несчастий, бедствий, поражений!

Я не только не скрываю это, как видите, но всеми силами внушаю вам, молю вас — покончить, раз и навсегда, и ведь это же так легко! с этой молниеносной искрой, цветущей на плесени, с этой кнопкой, приводящей в действие адскую машину.

...Вот я мог бы указать, ткнуть пальцем в того-то и того-то, чья жизнь разрушена нашим общим, и моим личным, врагом!

...Итак, гражданки и граждане!

Положим ли мы к его ногам смиренно остаток наших женщин?

Сколько еще жертв, сколько семейств, монахинь, проституток, сумасшествий, несчастных браков, благодаря ему?

Вы не потерпите больше этого Соловья-Разбойника, обложившего дорогу нашей спокойной, нормальной, здоровой жизни, — этого спрута, притаившегося под камнем, выщупывающего, сосущего, грязнящего своими глазами-фонарями, каждую женщину, попавшую в поле его зрения!

Нужно сбросить эту ехидну, стряхнуть кошмар, наваждение, линчевать, раздавить как поганое насекомое, сложить двенадцать раз, этот рахитический скелет, это утонченное чудовище, эту склянку с запахом безнадежности, скуки, гнусности, смерти!

...Граждане, я — к вашим услугам!

...И умоляю — держите меня хорошенько, чтобы я не ушел из ваших рук в ковш поданной мне напиток воды!

...За мной, граждане!!!

И еще раз, Долголиков смалодушествовал, выскользнул.

26. КОТОРЫЕ УМЕЮТ

Долголиков от скуки пошел к земляку Петьке. Там всегда кто-нибудь толкался.

На этот раз — незнакомый, элегантно великан, оказавший тоже земляком, с известной на губернию фамилией Просвириков.

Взаимно поудивлялись, что до сих пор не знакомы. Одет в новое, черное пальто и хороший костюм. Лыня-

ные волосы гладко зачесаны назад. Лицо, какое бывает только у скоротечно-малокровных: рыхло-матовое, перевязано толстой оправой очков, и больше чем на десять лет моложе других.

Невмоготу стало ему ночное шоферство. Всего два года как добрался до Парижа, а уже нестерпимо хочется вон.

Изнурил себя регулярной жизнью, и ночной работой... и очки надел из-за этого.

Вечно одно и то же: посылать деньги матери, в Россию, помогать каждому встречному.

Вновь знакомые, будучи почти людьми разных поколений, с интересом разговаривали.

"...Вокруг света, на парусной лодке что ли отправиться?" — уныло сказал Просвирников.

Долголик тихо, как неизлечимый больной, произнес несколько слов о Алене Жербо.

"Как же это я не знал?" — воскликнул собеседник тоном человека услышавшего о распространенном нововведении в его специальности, — "ну так — объехать на гребной лодке Средиземное море!"

— Это недостаточно сенсационно, да и с бумагами хлопот не оберешься.

"...Нет, непременно выход найду, что-нибудь да придумаю!"

Все мои приятели устраиваются!

Когда мы, морские кадеты, сев во Владивостоке на корабль, проходили мимо Борнео, то четверо отпросились у начальника корпуса... им дали: бот, оружие и прочее, и они уплыли на остров.

Потом мы добрались до Калькутты. Там русский консул. Захотел нас посмотреть. Парад. Между гостей — дама... Один кадет признал в ней сестру. Она несколько лет назад вышла замуж за англичанина-миллионера. Конечно, сейчас же списался с корабля... Рваные ботинки — долуй!

А то один уже здесь, в Париже, ломает голову, что придумать, куда податься?... и узнает, какими-то судьбами, что его дядя, профессор — чуть ли не министр народного просвещения, в Абиссинии. Немедленно написал и уехал... Живет при дворе.

Там много русских. Негус, рас Тафари учился в Пажеском корпусе. Говорит по-русски, почти как мы. Небось, знаете, что, когда он ехал в Париж, говел Страстную неделю в Иерусалиме, в православном храме.

...Сиам тоже.

Он скоро будет житницей Азии, соперницей Аргентины, по скотопромышленности и земледелию. Европейцам дают землю бесплатно. Масса немцев едет. Я тоже интересовался. Ходил к здешнему сиамскому послу. Он — принц крови и тоже учился в Пажеском корпусе. Русских очень любит. "С удовольствием", — говорит, — только на обзаведение хозяйством нужно иметь деньги".

...Или вот мой одноклассник Шпрингин.

В Бизерте, и по предметам, и в строю, был последним, на практические занятия, гребное и парусное плавание не являлся вовсе, но по поведению — первый. Поджидал выпускной аттестат.

Намозолив глаза капитану первого ранга, Михееву, и всем кому возможно, в Париже, и ничего не сделав с ворами рекомендательных писем, перебрался в Брюссель.

Как и все смертные, не обошлось без фабрики, но больше всего, чтобы кое-как изучить Дизель.

Но все время, денно и ночью, может быть, год: раздобыванье все новых писем и связей.

И вот, наконец, при полном параде: осада бельгийского Министерства Колоний.

Письмами, лестью, наглостью — открыл все двери.

...Но, с личным секретарем министра, после переговоров, с криком "у меня иного выхода — нет!" — дошло до рукопашной.

На шум вышел министр.

Растрепанный чиновник, объяснил, что его заявление, что ни день, ни час не приемные — не помогло.

"Войдите. Вы энергичны. Нам такие нужны!"

Шпрынгина отправили в Конго.

Для экзамена на борт вооруженного катера сел сам генерал.

Лавировал удовлетворительно. Наконец, команда — причалить.

Здесь его познания перепутались: нужно ли стать носом против течения, или можно и не поворачивать?... и лишь в последнее мгновение, уже на границе безнадежности, решил повернуть и подошел так чисто, уже креня катер на бок, что генерал бросился поздравлять.

Предложили пост командира... а он мечтал о месте механика вооруженного катера! Полицейская служба по реке Конго: контракт на три года, последние шесть месяцев — оплаченный отпуск, в любое место земного шара, с огромным окладом, хотя на руки выдается незначительная часть — тратить негде... даже женский вопрос, "любовь" — хватай любую.

Хлеб, мясо, фрукты — с хиной!

Первое время плавал по Конго, потом перевели вглубь страны.

Двадцать суток на слонах, от последнего парохода.

Административной частью вполне довольны, предлагают новый, еще более выгодный контракт.

К осени приедет в Париж, в отпуск.

...А его приятель, служивший в Конго же на золотых приисках, новый контракт не подписал, потому что решил построить там мыловаренный завод... Всем известно пристрастие африканцев — часами сидеть перед зеркальцем, мылить физиономию, щупать и крутить растительность на губе, приглаживать курчавые волосики...

...Еще одного судьба забросила в Рио-де-Жанейро.

Когда-то был в политехникуме, умел немного чертить.

Устроился в порту.

...И вот город решил строить — вторую гавань. Объявили конкурс.

Конечно, захотелось попробовать.

Долго не сходились концы с концами. Он пришел в мрачное отчаяние... Но потом как-то подогнал.

Его проект был одобрен. Порт построили. Теперь он — главный инженер. Недавно приезжал в Париж".

Новые знакомые так пришлось по вкусу друг другу, что рассказчик пошел провожать Долголикова, пригласив его по дороге выпить кофе.

Наш главный герой, ободренный размахом и добродушием моряка, преодолев стеснительность, попросил у него взаимы.

Просвирников к шоферству не вернулся и через несколько месяцев, уже в свою очередь занимая деньги направо и налево, устроился музыкантом в группу джигитов, уезжавших в Америку.

27. ДОЛГОЛИКОВ СЛЫШАЛ УХАБЬЕВА

Слухи об Ухабьеве дошли до Долголикова давно.

У одного русского критика собиралась вся музыкальная Россия, попавшая в эмиграцию.

Туда был вхож некий поэт, и на расспросы Долголикова, в числе имен молодых композиторов, назвал и Ухабьева.

Этим дело пока и ограничилось.

Лишь через несколько лет он был случайно представлен критику.

Но слишком давно, мечтая о знакомстве, наш герой, пожимая руку, сделал излишне-сахарную улыбку, и, не встретив "нужного отклика", при новой встрече не раскланялся.

Время шло, и только через полтора десятка лет во французских газетах появилось объявление: первый показ публике нового музыкального инструмента Ухабьева "Поющая Чаша".

Уже раза два слышал Долголиков аппарат Теремина, с симфоническим оркестром "вагнеровского состава", где солисты бросали извиняющийся взгляд в публику и, матерински-снисходительный, на инструмент, когда — или с несколькосекундным опозданием — достигал необходимой полноты звука, или стихал — дольше, чем нужно, глуша и уродуя, уже подошедшую дальше мелодию.

И хотя разлада, благодаря усовершенствованиям Ухабьева, и предназначенным для инструмента произведениям больше и не было, все же непривычно, а потому и страшно было могущество диапазона "Поющей Чашы", казавшегося непосредственным эхом самого космоса, мирового хаоса.

Естественный тон аппарата: вой ночной бури, шторм океана, гроза или пушечная стрельба... однако, легко переходящий в завыванье шакала и мяуканье рыси, или — становящийся звуком виолончели, контрабаса, скрипки, флейты, — человеческим голосом.

Теперь композиторы смогут с граммофонной точностью передавать: тревогу сирен, вакханалию морского, сухопутного, воздушного или подводного сраженья, кавардак звуков всех машин передвиженья: работу фабрики, жизнь экзотического леса, извержение вулкана, торжество сатаны, сладости магометанского рая, музыку сфер, состояние Нирваны.

Путь всей музыки — нисхождение с заоблачных высот на землю, от духовных, мировых тем к реалистическим, будничным, к "писанию вида местности с натуры".

Открыватели новых путей после Первой мировой войны сочиняли сюиты и этюды, для небольших оркестров, на тему: работы сельскохозяйственных машин, хода автомобиля, лета аэроплана.

Соотечественник же нашего Долголикова отличался от них тем, что был мистиком, верующим христианином.

Ухабьев, наконец, ввел в берега Скрябина.

Со временем он будет признан одним из характерных русских композиторов, несмотря на полное отсутствие суальности.

У Чайковского и Даргомыжского, как почти и у всех остальных, есть умильтельная красота, у Ухабьева же она отсутствует.

Долголиков понимал, что подобное творчество есть следствие глубоких нравственных и религиозных потрясений, подходивших вплотную к состоянию приговоренного к расстрелу, пытаемого в чека, или доведенного до людоедства человека.

Под музыку Ухабьева Долголиков бы перенес Москву.

К этому апокалиптическому настроению слушатели подводились постепенно: от чаконны Баха-Бузони, через Литургические поэмы, при исполнении которых Долголиков видел с закрытыми глазами мир картин Врубеля и русско-византийской живописи, их ассирийских ангелов, со "слушающими", сумасшедшими от страданья глазами.

С момента исполнения вещей для рояля и "Поющей Чашы" дело для Долголикова решительно изменилось, благодаря хаосу, вызванному на поверхность музыкальным аппаратом.

При исполнении же "Толкования Страшного Суда", по замыслу целой оратории, тема которой взята из самых мистических глубин, как-то: Победа Добра над Злом, Примирение Иуды с Иисусом, Долголиков чувствовал себя перед Крестными Муками, Грюнвальда.

Грохотали черные небеса, низвергался кровавый ливень, нестерпимые светы сжигали Распятого, хрипло задыхалось, сотрясаясь пронзительно-истушенно, свистя и визжа в предельной истерии терзаемое, человеческое Иисусово тело, и хора Его излюбленных, переплетаясь с колдовским, раздумчивым шипеньем, декламацией и шепотом Иуды.

Определение — Музыка, здесь уже оказывалось не исчерпываемым.

Слабым зачатком этого "Толкования" могла быть бетховенская Обедня в ре, где в последней части — Бенедиктус, соло скрипки похоже на свист.

...Продлись это действие дольше, наш герой, чего доброго, не выдержал бы.

28. ОСВЕЖЕНИЕ ПАМЯТИ

Музыкальный сезон подходил к концу, и Долголиков еще чаще бывал на концертах.

Вот и сейчас он вышел из театра, по обыкновению, отправившись домой пешком.

День уже так давно повернул на прибыль, что до вечера еще далеко.

Тепло и по-весеннему прозрачно.

Он шел по улице, которая кончалась у остатков городского вала.

И ему захотелось побродить по траве пустыря, полюбоваться молодой листвой пригородных палисадников.

Но в одном из последних домов жил Свенсон... и Долголиков вышел из подъемной машины на четвертом этаже.

Ему, конечно, были рады.

Сидело несколько друзей.

Он объявил, что пришел пешком с концерта.

Всякий, и особенно Буиرون, высказал несколько мыслей о музыке.

Хозяин же поиздевался над всеми и заявил, что предпочитает негритянскую, ритмика которой вполне современна, и в ней много свежести и непосредственности.

С ним согласились, и прерванный разговор возобновился.

Но вдруг что-то отвлекло внимание Долголикова.

Через мгновение он уловил шум с улицы, потом приближающийся грохот, вылившийся в согласный топот ног.

Решив, что идут солдаты, все успокоилось.

Однако, за короткой фразой, выкрикнутой одиночным

голосом, топавшие, хотя и негромко, но отчетливо, лишь еле растянув последний слог, пропели в ответ: "Иль э монтэ, о сиеле".

Долголиков бросился к окну, и перед ним, так же быстро, как французская пехота, промелькнуло несколько десятков чернокожих, еще один-два раза подхвативших: "Он вознесся на небо".

Дом, в котором находился Долголиков, был выстроен в виде буквы Е, концы которого касались тротуара, благодаря чему Долголиков не мог видеть голову шествия, но он понял, что это были похороны идолопоклонника.

Что ритуальный выкрик производил колдун, а все остальные, его единоверцы, коротким ответом, выявляли свою нетленную веру в жизнь вечную.

Не подлежало сомнению, что всем им, обряженным в купленные на Блошином рынке темные костюмы и грубые ботинки, которые они едва успевали переставлять в такт по мостовой, вскорости предстояло проследовать так же, по этой улице — на кладбище, сгорев от туберкулеза.

Долголиков хотел примкнуть к шествию, но задержался, объясняя фразу, которую остальные не разобрали, но раздумал, так как оно уже успело уйти далеко.

29. НАСТУПЛЕНИЕ СРОКА

"Опечаленные... минуточку внимания, и я надеюсь, что мне удастся рассеять вашу горе, успокоить вас!

Вы отлично знаете, зачем пришли сюда.

Точно две недели назад исчез всеми столь любимый, почитаемый больше, чем популярнейший боксер, или тореадор, или танцовщица, одним словом, в сто, в тысячу раз более гениальный, чем самые излюбленные кумиры: наш Человек-Птица.

И ровно неделю назад несколько лиц было приглашено высказать свое мнение, а население оповещено, что буде Птица не вернется... и мы, опрошенные, сказали, что нет: мы повторим наше показание — перед всей страной... мы здесь все налицо — начиная с ученых и кончая анархистами-толстовцами.

И действительно, случай исключительного значения, граждане!..

Но, как вы сейчас увидите, здесь место радости, а не печали!

...К сожалению, из нескольких человек, единственных, с которыми его общение с миром последнее время и ограничилось, самым искусным оратором оказался я... пользуюсь случаем извиниться за топорность моих разглагольствований! Поэтому я не начну с конца, не ошеломлю вас неожиданностью радостного заключения наших показаний... смею вас уверить, что конец вы узнаете только в самом конце моей речи!

...Вы видите, дорогие сограждане, как я настроен!

Итак, я начну свой доклад исподволь, восстанавливая происшествие, обобщая их и разбирая.

Рождение... вернее, конечно, будет сказать, появление Человека-Птицы... Несомненно — оно у всех на памяти!

Всего несколько лет назад, в один прекрасный день, мы одновременно подняли головы, привлеченные барабанным боем, падавшим с неба... и он, наш будущий герой, опустился, планируя — на этой самой площади!

Откуда взялась птица и почему села именно у нас — никому не известно.

При осмотре аппарат всех удивил своей несложностью: он был сделан из оказавшегося под рукой материала... ведь вы помните, что он приводился в движение руками?... и в то же время художественным совершенством своей отделки: причем, дерево, веревки, а также и пища, были, несомненно, экзотического происхождения.

С очевидностью известно лишь то, что он принадлежал к человеческой породе: длинно-челюстных, покато-лобых, высоко-черепных.

Однако мы имеем право считать его сыном нашей страны.

Потому что каким-то образом, после нескольких дней колебаний и замешательства, какой-то полусознательности, он вдруг начал, как бы пройдя путь внутреннего очищения, говорить так же свободно, так же почувствовал, начал переживать, стал в уровень нашего обихода, как и мы, родившиеся здесь... но обучавшиеся, знакомившиеся с окружающим несравнимо медленнее.

...Здесь, конечно, нужно оговориться, потому что человеком повседневности ему просто быть не было дано!

Всем была известна его, например, несогласованность с нами в области употребления пищи: кулинарная библиотека Воздушного Танцора была немногим разнообразнее бабочкиной. Он всегда говорил, что питание — это глупая и оскорбительная необходимость.

...К сожалению, первое время у него бывали необъяснимые и прямо-таки отталкивающие срывы... говоря, конечно, относительно, то есть, имея в виду его непостижимо-высокий, олимпийски-грустно-трагический уровень жизни.

Его жизнь была как-то пришибленно-дика и перепутана с непростительным высокомерием, но все это было полностью подчинено устремленности в область тайны смерти... иначе говоря — он был религиозен!

Это был человек исключительной цельности.

Мне кажется, что его назначение было: проникнуть в жизнь бестелесную, очутиться по ту сторону вечно отступающего горизонта... этой фата-морганы, этого по man's land'a, за которым находится царство — безвещественной, вечной жизни.

...Не смейтесь надо мной, сограждане!.. Так как победителем оказывается тот, кто смеется последним!

Я, конечно, знаю, что это — общая участь, но... большинство из нас ограничивается заявлением, что обо всем этом они ничего не знают... или и того хуже — ссылаются на материалистическую философию, что во время перехода — ни мышление, ни память больше не действуют.

Тогда как я именно и хочу сказать, что предназначение нашего Национального Героя как раз и заключалось в потребности добиться возможности переселиться туда по своему личному желанию... то есть совершенно сознательно, в любое мгновение, когда захочется, оставаясь в здравом уме и твердой пам...!

...Виноват, дорогие граждане! я отдаю себе отчет, что немного улвекся. Поэтому останавливаюсь на полуслове, чтобы сдержать обещание, не забегать вперед!

Итак, это был символ... нет, больше — носитель, воплощение всей совокупности природы.

Он — стрела, пронзившая все три стадии существования: прошедшее, настоящее и будущее — на протяжении одной человеческой жизни. И, по-моему, чтобы уметь быть в состоянии так живо, непосредственно соединить все три звена

цепи, одной стрелой пронзить три сердца — нужно какое-то непрерывное, неприостанавливающееся шествие, следование лет из первой стадии — во вторую, из второй — в третью... Хотя в нем и должны были быть какие-то прорывы, пробелы, встряски, землетрясения.

Он, по-моему, должен был быть самым генеалогически свежим, молодым человеческим существом.

Ему была сделана прививка, откуда-то со стороны, из вне-человека, пра-человека... от обезьяны!

В Птице поражала эта слиянность с природой, растворенность в ней, отзывчивость на ее малейшие колебания, поэмы, цельность, согласованность с ней.

Да, дорогие сограждане, я беру смелость предполагать... а это уже почти утверждение, что Человек-Птица был сыном какого-нибудь Тарзана от Обезьян!

Мы знаем историю новорожденного лорда, воспитанного обезьянами и, возмужав, ставшего их царем, а потом выросшего до человека и вернувшегося к людям.

Вот пример превращения... ну, скажем, дерева, букашки, обезьяны — в лорда! Венец, завершение какого-нибудь несколькосотлетнего, пуританского, религиозно-устремленного рода.

Путешествовать, видеть, узнавать мудрость других, жить в новых условиях... до некоторой степени рождаться снова, не умирая.

Представьте себе подсознательное отчаяние носителя всего этого накопления, низверженного вдруг до степени скота, обезьяны!

...Даже много больше... ай! духовный капитал человечества — в смертельной опасности! Потому что Человек-Птица уже второе поколение, выросшее в лесу... и его мать — обезьяна!

...Да, но почему на нем не было ни одного волоска, кроме головы?... и черты его лица достигли предельной тонкости и изощренности, фантастичности, спросите вы меня? На каком основании я произвожу его от обезьяны, когда он больше всего — сверхчеловек?

...Ну, так я вам отвечу не запинаясь: вера в чудеса, логические выводы, выкладки, антропологические неопровержимые данные, подтвержденные несколькими событиями, о которых я вам сейчас, граждане, и объявлю!

По его появлению с ним случались уже упомянутые мной срывы.

Например, женщинам удавалось соблазнить его, и, кажется, его порывы были нечеловеческого темперамента.

Пьяный любовью, он пил вино и ел мясо... вспомните библейскую историю о Самсоне, что при его обычно текущей жизни являлось глубочайшим падением.

Но сейчас я сообщу случай, который многим откроет глаза.

Это относится ко времени, когда он был объявлен Воздушной Балериной, воздушным жонглером, эквилибристом, когда он еще на своем, приводимом в движение руками, аэроплане, сумел с места... так как он совершенствовался непрерывно, вертикально уйти, впитаться в небо и завиваться скрученной лентой... а ощущение ангельской боттичеллиевской ленты достигалось еще и тем, что он окрашивал, никому не известным способом, пройденный в небе путь.

Также и стоять в воздухе неподвижно и спокойно, как в кровати.

А в скором времени и описывать в небе, держась за

веревку, вертикальные или горизонтальные круги вокруг аэроплана.

Здесь он уже вступил в область необъяснимого!

Он стал — воздушным певцом радости, завоеванья — жаворонком!

Тогда, по-моему, он был в периоде нашей земной человеческой жизни.

Вот этой теперешней, настоящего времени. Для которой мы родились и умрем!

...Тут-то, граждане, и случилось это прискорбное шествие!

Накувыркавшись, наплясавшись в небе, то раздирая его зубьями пилы, то подымаясь и опускаясь по ступеням покрашенной им, орфически, небесной лестницы, или как гигантская ракета, распуская в небе райское дерево... как две капли воды похожее на произведение кондитера, где каждая ветка, каждый листик — его кувырки; или заковывая необъятность в цепь чередующихся вертикальных и горизонтальных звеньев; или делая вселенную кудрявой, как голову негра; расписывая небо букетами роз... словом, продельвая все то, чем он покори нас как великий спортсмен-декоратор, эквилибрист-пиротехник, только что он ступил на землю радостный, веселый, как некто... уточнять излишне, приведенный, им в неудержимый восторг, дав полный ход автомобилю, с криком бросился ему навстречу, перекалечив несколько человек и ранив его соблазнительницу.

Человек-Птица превратился в тигра, и, заревев, бросился на него, душа руками и разрывая зубами, и... поглощая тело несчастного.

Но, тотчас опамятавшись, он, после нескольких секунд раздумья, хотел лишиться себя жизни. Его уговорили, успокоили, и, о, как он начал каяться, просить у изъеденного прощенья!

Мы знаем, как поступают у нас с людьми, нанесшими, без намерения, увечье или причинившими смерть: их отпускают — терзаться сознанием совершенного ими поступка.

Потому-то, изъеденный и не думал разглашать людоедство Птицы, а принял его как знак милости Природы, как искупление своего несдержанного порыва.

Для нашего Национального Героя это был момент прекрещения всех путей существующего: прошедшее до-человеческое, преисторическое достигло зрелости, высочайшего напряжения и, окрасившись кровью — разрядилось и померкло, изжило себя; но в то же время стремительно увлекло за собой и настоящее, историческое телесное существование.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что с этого мгновенья он родился для третьей стадии жизни, перешел в четвертое измерение, вернее, вошел в коридор, соединяющий третье с четвертым измерением, для будущей, существующей по ту сторону горизонта, может быть, вечной, блаженной жизни.

Начиная с этого времени, он быстро... как бы полетел к совершенству, становясь все абстрактнее, цельней, прозрачней, ровней, и да! — достиг полной, сиятельной высоты, внемирности!

Наш чудесный гость, наш Икар... которому суждено было, наконец, довести дело греческого дерзателя до конца, решительно переменялся.

...С этих-то пор он и ограничил свое общение с внешним миром несколькими лицами: выдающимися учеными, мистиками, медиками.

И вот он, благодаря нам... а мы, благодаря ему, убедились в возможности того, чего он достиг теперь... мог достигнуть, логически должен был этим кончить!

Он уже давно подымался в воздух только по привычке, потому что там ему было спокойней мыслить, фантазировать, созерцать.

...Хотя, конечно, в то же время он непрерывно совершенствовался и в летаньи, в парении, в упрощении машин, в сведении их, по возможности, к нулю, и последний аппарат — пластинка из гибкого, легкого материала, в форме буквы Т, по величине едва превышающая человеческий рост, уже служила ему только для подъема, — летать, держаться неподвижно в воздухе и опускаться он научился без какого бы то ни было прибора.

...Вот происхождение змеев, которых находили на полях и на крышах.

Еще бы не удивительно было наблюдать его гуляющим в небе... как, допустим, Бетховена по деревенской дороге!

...Или, вдруг, как дух, он вступал в окно, с неба садясь на свободное место!

”Все не то!.. Мне нужно освободиться от весомости!.. уметь исчезать телесно, растворяться в воздухе — я учусь переставать дышать, то есть останавливать кровообращение... значит переставать существовать, словом, необходимо научиться умирать во всякий момент и на любой срок, с возможностью прерывать или продолжать смерть!

...Но умирать, не лишая себя жизни!

...Единственно по своему желанию, помимо естества, оставляя в себе свечечку, точку жизни, руководящего сознания непогашенной, способной возжечь жизнь!” — делился он с нами своими помыслами.

С нашей, общей помощью он делал над собой непрерывные опыты и подготовительные, частичные операции. Химия и вера гомеопата, секреты египтолога и теософа соединились с интегральными вычислениями инженера-конструктора, опы-

тами физика и вмешательством хирурга, — создавались смеси, вливания, производились вивисекции, трепанации.

...И мы, пораженные, видели, слышали, например, фразу, начатую им зримым, а законченную... как бы воздухом, пустотой!

Первое время он бросал от себя тень, через него нельзя было видеть, руки натыкались на плотный воздух его тела. Но, по мере накопления опыта, он становился все менее вещественным, тень исчезла, вероятно, сквозь него можно стало проходить.

В этом состоянии он уже не мог ни говорить, ни почти соображать, в нем сохранялось лишь сознание цели и пути к возвращению.

Способность умирать по собственному желанию и возвращаться в жизнь, он.. а значит, и мы с ним! — достиг совсем недавно.

После этого ему только оставалось научиться летать, находясь в данном положении.

...И, очевидно, достигнув этого, столь чаемого состоянья, он немедленно и умчался.

Так что, если наш любимец и не вернется... потому что, достигнув третьей жизни, он, может быть, подвергся непредвиденным изменениям и забыл от радости о нас... пусть даже и так!.. то все же несомненно, что он — там!

...И знаете ли, уже есть желающие, правда, еще не очень удачливые, отправиться вслед за ним!

...Итак, мы научились, по меньшей мере исчезать, не прибегая к самоубийству!

...С чем вас, дорогие сограждане, в неопишемом восторге мы и поздравляем!”

— Ура! Ура!.. Уурррааа!!! Уууууррррааа!!!

Редакция журнала благодарит Ренэ Герра за любезное разрешение на публикацию романа С.Шаршуна.

**В издательстве
«Третья волна»
выходят новые книги:**

Дмитрий Савицкий. Ниоткуда с любовью. Роман
ок. 230 стр. Цена — 15 долларов

Юрий Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека.

Ок. 320 стр. 40 уникальных фотографий. Цена — 18 долларов

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

1986
СТРАНА

Артем Веселый — (1899-1939), известный русский писатель. В 1937 году был арестован, погиб в заключении.

Флоретта Беер-Камар — французский искусствовед.

Клер Галлуа — французский критик.

Ефим Гаммер — (р. в 1945 г.), поэт, прозаик, публицист. С 1978 года живет в Израиле. Автор трех книг. Публикуется в Израиле и периодике русского Зарубежья.

Лена Гинзбург — (р. в 1946 г.), критик. В 1978 году эмигрировала, живет в Нью-Йорке. Публиковалась в Антологии поэзии «Голубая лагуна».

Зинаида Гиппиус — (1869-1945), известный русский поэт. Писала также прозу и под псевдонимом критические статьи.

Гавриил Гликман — художник, скульптор. Эмигрировав из СССР, поселился в Мюнхене. Публиковался на страницах «Континента», «Русской мысли».

Александр Журжин — (р. в 1953 г.), прозаик. В 1979 году совершил побег из СССР. Живет в США. Публиковался в журналах «Континент», «Новый американец» и др.

Евгений Замятин — (1884-1937), выдающийся русский прозаик.

Михаил Зоценко — (1895-1958), выдающийся русский прозаик.

Николай Кармишенский — поэт. Живет в Ленинграде. В СССР не публикуется.

Галина Келлерман — (р. в 1948 г.), критик. В 1973 году эмигрировала в Израиль. С 1984 года живет в Париже. Публикуется в журнале «Континент» и других периодических изданиях русского Зарубежья.

Юрий Колкер — (р. в 1947 г.), поэт, критик. В 1984 году выехал из СССР, живет в Израиле. Автор книги стихов «Предисловие». Публикуется в журналах и газетах русского Зарубежья.

Николь Ламот — французский искусствовед.

Михаил Лемхин — (р. в 1949 г.), прозаик, критик. В 1983 году выехал из СССР, живет в Сан-Франциско. Публиковался в журналах «Континент», «Грани» и в других периодических изданиях русского Зарубежья.

Рышард Лужный — польский литературовед.

Борис Садовский — (1881-1952), поэт, прозаик, критик. Автор нескольких книг стихов, рассказов, критических статей. Большинство из них опубликовано до революции. В СССР печатался крайне редко.

Мишель Сайан — французский критик.

Ольга Седокова — (р. в 1949 г.), поэт. Один из известнейших авторов Самиздата. В этом году книга ее стихов вышла в парижском издательстве ИМКА-Пресс.

Кристина Фернио — французский критик.

Сергей Шаршун — (1889-1975), поэт, прозаик, художник. С 1912 года жил в Париже, где прославился как живописец. Проза Шаршуна высоко оценивалась в литературных кругах русского Парижа.

С биографическими данными других наших авторов вы можете познакомиться в двенадцатых номерах журнала за 1984 и 1985 годы.



1931-1986

В декабре 1984 года смерть унесла от нас Владимира Вейсберга. И вот снова горестная декабрьская весть из Москвы. На этот раз о смерти замечательного русского живописца и графика, одного из зачинателей движения художников-нонконформистов, Анатолия Зверева. Казалось бы совсем недавно мы вместе с ним, хоть и разделенные огромным пространством, радовались его персональной выставке в Москве. Несколько месяцев тому назад мы поздравляли его с персональной выставкой в Нью-Йорке. А теперь нам приходится вновь повторять слова Александра Галича «Уходят, уходят, уходят друзья...», да утешать себя тем, что созданное нашим ушедшим другом не пропадет, останется в истории русского искусства и когда-нибудь займет свое место в музеях свободной России.